Кадетская ПЕРЕКЛИЧКА

№ 17



КАДЕТСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

Периодический журнал Объединения Кадет Российских Кадетских Корпусов За рубежом, Нью-Йорк, США

№ 17 Нью-Йорк 1977

"CADETS ROLLCALL"

Periodical Magazine
Published by Association of Russian Cadets graduated outside of Russia, Inc.
New York, USA

Subscription price $ 10.00 USA for three issues
$ 3.50 USA per single copy

Managing Editor
Paul Olferiev
4187 Frame Place.
Flushing, N. Y. 11355 U.S.A.

От комиссии по созыву 6-го Съезда Кадет Российских Кадетских Корпусов.

Венецуэльское Объединение принявшее на себя обязанность организации 6-го Съезда просит принять к сведению все Объединения о выборе комиссии по устройству 6-го Съезда в Венецуэле.

Комиссия выбрана в следующем составе:

Председатель: : Н. Н. Домерщиков
Вице-председатели: : В. Г. Рогойский и А. Б. Пушин
Казначей: : А. М. Слезкин
Секретарь: : В. В. Бодиско
Члены : Ю. В. Щербович-Вечор, И. В. Гняздовский, Н. А. Хитрово, Б. Е. Плотников, Г. Г. Волков.

Адрес комиссии : Sr. N. N. Domerschikoff
Apartado 66410
Caracas 106
VENEZUELA

6-ой Съезд будет состояться в июле месяце 1978 года в частном клубе Puerto Azul, находящемся на берегу Карибского моря, в полутора часах езды от Каракаса.

В конце июля-августа комиссия предполагает разослать оффициальные приглашения на Съезд всем Объединениям и одиночкам кадетам, его предварительную программу и опросные листы.

Секретарь — Председатель

В. В. Бодиско — *Н. Н. Домерщиков*

От Редакции: В прошлом номере мы начали печатать статьи посвященные участию кадет в Белом Движении. Статья Бориса Павлова открыла эту серию. Рассказ "Кадетская Зверпада" дает яркое описание жертвенного порыва кадет.

КАДЕТСКАЯ ЗВЕРИАДА

(Из сборника рассказов Владимира Гущика)

Два кадета последнего класса, Арчил Никакидзе и Колька Шубин, сидят на крыше корпуса и мечтательно глядят на далекое и золотое от яркого солнца море.

Голубой майский день, теплый и тихий, застыл над южным городом. Солнечно. Пыльно. Теплый запах цветущей акации душистой волной доплывает до крыши. А на улице от пыли все люди серы, как серые куклы.

Тихо. Хорошо. И уж очень разморил этот пахучий, безбрежный день...

— Уеду! неожиданно сказал Арчил и по его скуле забегали живчики.

— Поймают! равнодушно протянул Колька. — До Новочеркасска не доберешься. Под арест попадешь. Болтаешь ты зря!

— Я-то?! сверкнул желтыми белками Никакидзе. — К чорту я доберусь! Ты меня, Колька, не знаешь.

— Знаю.

— Ничего ты не знаешь. Хочешь, скажу?

— Ну!

— Вчера я видел агента из добровольческой армии. Нам, говорит, нужна молодежь. Большевиков бить будем. В офицеры произведут. Ей-Богу! Эх, Колька, Колька, еловая ты башка! Пойми, эх, убегу! После проверки и убегу.

И опять Кикакидзе мечтательно глядит на море и на глазах у него слезы.

Колька откинулся спиной на теплое железо крыши и щурясь поглядел в небесную голубень. Теплота, безделье и ласковость наводят Кольку на мечтания.

— А сейчас там пушки палят! Трах-тарарах-трах! Хорошо, Арчил, быть артиллеристом! И главное, все просто. Очень просто. Вот приезжаю я в армию. «Ах, это вы кадет Шубин? Очень приятно. Мы так много слышали о вашей храбрости

и о вашем уме! Позвольте вас познакомить с офицерским составом»... Эх, Кикакидзе, это лучше, чем стихи Бурдюковского. Это — сошедшее на меня откровение. Это — прозорливость прекрасной будущности твоего друга! Ты, балда, погибнешь безвестным и никому ненужным пигмеем, а я, твой друг, как на параде пройду по полям сражений. Слушай-же и не перебивай. И так, продолжаю...

Колька полузакрывает глаза и мечтательно продолжает:

— Мне подводят коня. И что это за конь! Это не конь, а сплошной восторг! Это — адски шикарный конь! Я лихо вскакиваю в седло и мчусь с молодцами разведчиками. Мы мчимся в южную степь. Перекати-поле мерно перекатывается под моими ногами. По небу летят журавли, в траве желтеют кости сынов Запорожья. — Здравствуй, степь! говорю я. — Здравствуй родина Тараса Бульбы и Николая Васильевича Гоголя! — Небо безоблачно. В голубой вышине кричат ястреба!..

Колька делает паузу и отрывая спину от крыши, величественно говорит.

— Арчил! Я тебя произведу в офицеры. Я не забуду тебя, паршивый кадет, а ты за это дай-ка мне папиросу.

— Спроси у Николая Васильевича Гоголя! сердито обрывает Арчил. — А, если Гоголь не даст, спроси у Тараса Бульбы.

— Свинья! разочарованно говорит Колька и опять откидывается на крышу.

А небо под ними теплится голубизной, беспредельное, широкое небо, которое прикрывает и белых и красных и черных и море и Москву и Неву и какие-то Парагваи, Сиамы и Тимбукту. Майским теплом обдает Колькино тело. Шубин зевает и лениво продолжает мечтать вслух.

— Летит земля из под топота копыта моего скакуна.

— Брось, Колька, дурачиться! Неужели серьезно говорить не умеешь? сердится Арчил.

— Молчи, не мешай. Дай мне хоть помечтать. Слушай, я продолжаю. Кадет Шубин несется по степи. Лихо я мчусь, припав к луке своего аргамака. За мной, тонкой цепочкой, спешат молодцы разведчики. Не перебивай, слушай и наслаждайся. «Миль пардон! Что это за гордый всадник?» спрашивает командир батареи и не отрывается от бинокля. «Ах, это-же знаменитый Шубин со своими разведчиками! Пароль донер, он красив, как сам Антиной!» отвечает ему адъютант и от зависти грызет наконечники аксельбантов. Ах, как курить

хочется! уже не мечтательно говорит Колька.

— Попроси у адъютанта! язвит Арчил.

— Скот! Тебе не понять великих порывов моей мятежной души. Но слушай дальше. Лошади горячатся и благородно храпят...

И Колька говорит, говорит, говорит, а небо теплое и с неба на них плывут теплые волны, а снизу томно пахнет акацией и пылью.

— Поедем! тихо говорит Арчил. — Право, поедем. Я тебя, Колька, люблю. Очень люблю. Я за тебя куда угодно пошел-бы.

Колька чувствует, как от ласки Арчила першит в горле, как тянет его броситься к приятелю и крепко обнять его и сказать ему, как дорог этот старый, испытанный по корпусу друг.

— Я без тебя не остануть! решительно говорит Колька. — Ехать, так вместе. Чорт с ними, пусть ловят. Поймают и выпустят. Или в корпус отправят. Все равно ничего не будет.

— Ей-Богу!

— По рукам?

— По рукам!

— Ну, Колька, спасибо! Ты поступил, как прекрасный человек.

— Я всегда прекрасен!

Движенья быстры, я прекрасен,
Я весь, как Божия гроза!..

— Получай за это последнюю папиросу! восторженно говорит Кикакидзе и достает блок-нот, где между слипшихся страниц лежит плотно приплюснутая папироса.

Колька осторожно ее расправляет, закуривает и блаженно откидывается на крышу.

Хорошо пускать дым в теплую голубень! Так бы и пролежал на крыше всю жизнь и никуда бы не шел и никуда бы не ехал, а валялся бы и пускал дым и щурился бы от солнца! И зачем и кто это придумал какие-то войны, какие-то революции?

Колька лежал и глядел в небо, а Кикакидзе сидел и глядел вдаль. Чуть пригнувшись вперед и положа руки между колен, он мечтал.

И рисовался Арчилу родной Кавказ и самый красивый и

самый прекрасный в мире город — Тифлис и розовые по утрам и лиловые вечером аулы. Ему даже слышались звуки родной зурны, хотя эта была не зурна, а шмель, гудевший над Колькой, но Арчилу это гудение казалось далекими напевами родной зурны. И еще казалось Арчилу, что он совсем не на крыше, а на утесе родного аула, а там по дороге пылит красная артиллерия, на перерез которой спешат лощиной лихие горцы и впереди всех он сам, Арчил Кикакидзе.

Вдруг, гулкой дробью забил внизу барабан. Колька вскочил и выронил папиросу. Окурок покатился к жолобу, застрял в нем и от окурка потянулся голубой жилкой дымок.

— К обеду стройсь! Закричали дневальыне.

Оба кадета быстро юркнули в слуховое окно и спустились с чердака на главную лестницу.

— Ишь! заворчал на них дядька Никифорыч. — Балбесы саженные! Жеребцы! Право, жеребцы! Их бы женить пора, а они по крышам лазают...

Весь день Кикакидзе и Шубин были неразлучны. Ходили под руку, как заговорщики о чем-то шептались, а вечером к ним пристал Васька Горский.

— Вы о чем, черти, шепчетесь? Заговор?

—Мы?! скорчил удивленную рожицу Колька. — Да ничего подобного!

— По твоей роже вижу, куда загнули.

— Куда?

— Бежать.

— Вот, чорт! И не думаем. Ей-Богу! Вот тебе крест! Это ты ему, Арчил, рассказал?

— Я? Нет. Честное слово не заикнулся.

— Откуда ты взял, Горский? Пошел к бесу!

— Ну вот, и проговорились. Послушай, Колька, возьми меня. Я тебе пригожусь. Какой из вас двоих прок? Изрубят вас большевики, как собак и ничего вам без Горского не поделать.

— Возьмем его Арчил! сказал Колька. — Пусть нам сапоги чистит. Горский, хочешь быть деньщиком?

— Вот, балда! Я тебе серьезно говорю, а ты шутишь. А впрочем, я и без вас убегу.

— Ти-шш! шипит Арчил и вытягивается вструнку. Мимо проходит полковник и кадеты впиваются в него глазами.

И когда офицер прошел Кикакидзе сказал:

— Ваську берем, а больше никого! И ты, Васька, не болтай

зря. Держи язык за зубами.

— Ну, то-то! Давно бы так! А то, смотрите, бездарные головы, как произведут меня в корнеты, живо посажу под арест!

— Я так и знал! воскликнул Шубин. — Не годен! Ни к чорту не годен! Мы собираемся в артиллерию, а он в кавалерию. Отъезжай!

— Ну-ну! Соловая голова! Да, что вы без нас на фронте поделаете? А разведка? А закачнивать бой? Да и кто будет охранять твои пушки?

— Берем! твердо решил Арчил. — Ваську берем!..

Все трое сговорились удирать после поверки.

— Ночью в два часа! предложил Горский. — Из чистилки на березу. На ту самую березу, что посажена в нашем саду для уразумения, какие-такие березы растут на севере. Насаждение сделано кстати и у самого окна чистилки. По березе вниз, через сад, через забор, в поле, за рощу, к товарной линии, в вагон за бочки или за ящики и — прощай корпус!

Весь вечер бродили втроем, а после ужина в спальне все трое, казалось, уснули крепким сном.

— Удивительно! громко сказал дежурный офицер Черкасов, обходя койки. — Горский спит. Странно, очень странно. Гм...

А Горский, прикрывшись с головой одеялом, думал: «В будущем году, господин капитан, мы должны сравняться в чинах, но с одной разницей: вы останетесь при вашем паршивеньком Станиславе, а у ротмистра Горского будет красоваться на груди беленький крестик. Нда-с! Зарубите себе на носу!..»

Ночью, когда пробило два, Колька приподнял голову и увидел по ряду коек еще две приподнявшиеся головы. Колька осторожно вылез из-под одеяла. Приятели сделали тоже. Потом все трое, захватив сапоги и платье, босиком прошмыгнули в чистилку.

— Тсс! тихо остановил приятелей Шубин. — Не разговаривать!

Кадеты быстро оделись и Горский распахнул окно.

Печальная береза
У моего окна!...

начал он, но тотчас получил по затылку от зашипевшего

Кикакидзе вмиг оказался на березе и пополз вниз. За ним тихо, по кошачьи, спустился Арчил. А Колька, перегнувшись с подоконника и обхватив березу левой рукой, оглянулся в последний раз на чистилку и, почувствовал, как запершило в горле, быстро и с отчаянием перекрестился на посуду с ваксой.

Ночь стояла теплая, лунная и тихая. Разорванные облака, как грязная мыльная пена, плыли по горизонту, а над головой простиралась звездная бездна.

— Когда меня убьют, — неожиданно и печально сказал Горский, — я переселюсь на Венеру.

— Почему на Венеру? удивился Арчил.

— Люблю Венерочек!

— Дурак! рассердился Колька. — Такой момент, а ты паясничаешь!

— Не сердись, Николай. За то, когда меня убьют, ты будешь глядеть на Венеру и с улыбкой вспоминать своего Ваську...

Все трое пригнулись, быстро перебежали к ограде, перелезли ее и юркнув в кусты, повернули в сторону железной дороги.

— Пройдя шагов триста, Колька оглянулся на корпус и остановился. Остановились и приятели.

Вот он, их дом, их родной корпус! Сколько воспоминаний связано с ним! Каким дорогим и близким сердцу сделался он в эти минуты! Казалось, что каждый кирпич, каждая щель, каждая мелочь стали и родными и светлыми и ласковыми до слез! Кадеты молчали. С ясного неба гляделась луна, где-то гудел паровоз, в кустах перепархивали ночные пичуги и далеко, по сизому от лунного света шоссе, разрезая ночь двумя мечами огней, мчался автомобиль. А под яркой южной луной, голубым серебром лоснились крыши корпусных зданий.

«Зачем бежим?» подумалось Кольке. «Зачем? Что впереди? Быть может никогда не увидим родного корпуса!»...

В кадетской роще, что стояла в полуверсте от плаца, беглецы остановились.

— Давайте, проверим нашу казну и пищевое довольствие! предложил Горский. Он вывернул карманы и вынул горбушки хлеба и несколько кусков супового мяса, с приставшим к нему сором. У приятелей оказались те же запасы, но у Кольки нашлась еще соль и казенные нож и вилка.

— Ага, оружие! засмеялся Горский. — А у тебя, что, Шамиль?

Арчил выложил перед приятелями хлеб и котлеты и вслед за тем вытащил из запазухи объемистую тетрадь.

— А это что? спросил Колька.

— Алгебра! подсказал Горский. — По ней Арчил будет решать в бою задачи: со многими неизвестными. Я же всегда говорил, что Арчил умница и предусмотрителен.

— Нет! с неожиданной торжественностью оборвал его Кикакидзе. — Нет, это не алгебра. Это, господа, наша Кадетская Звериада!

— Как?!

— Что?!

— Звериада?!

— Наша кадетская Звериада?!

— Да, господа, во всех ее вариациях! еще торжественнее повторил Арчил. — Как видите, связь с корпусом не нарушена. Отныне эта тетрадь будет заботливо охраняться. Начнем с меня. Когда меня убьют, она перейдет к Шубину. Ты, Горский, как самодур и легкомысленный человек, завладеешь тетрадью после наших смертей. Легкомысленные живут дольше, ибо — дуракам везет.

— Но только подумать, — сказал Колька, — наша кадетская Звериада!

И вдруг, он запел тихо, вкрадчиво и на такой печальный мотив, на какой никому не пришло бы в голову петь развеселую Звериаду. Среди тихой ласковой ночи, под южными пушистыми звездами, подхватили его напев приятели и щемящей тоской разлуки и отрыва от родного гнезда, понеслись слова Кадетской Звериады.

— Под но-ги-и!.. Под но-ги-и!..

Ночь. Степь. В седле так укачивает, так хочется спать.

Третьи сутки без отдыха с боями идут белые части на плечах отступающих красных; вперед, вперед! И вот сейчас, опять глубокий обход.

Холодно.

На горизонте чуть светлеет. Временами под ногами коней хрустит ледок. Нет-нет, да и набежит зябкий степной ветерок, заберется под гимнастерку, лизнет холодом тело и опять убежит в сумрак.

— Под но-ги-и!.. Под но-ги-и!..

Вот в сторону прыснул испуганный тушканчик, вот где-то свистнул суслик, над дальней лагуной беспокойно заметались какие-то птицы и одна из них, большая и смутная, пролетела над головами.

Как хочется спать! Колька напрягает все силы, чтобы не уснуть в седле и в памяти выплывает разведчик Наумов, на таком же ночном переходе, уснувший и свалившийся под ноги лошадей. Тогда испуганные лошади сильно помяли Наумова. Да и за конем надо следить; долго ль попортить коня. А тут еще и дорога разворочена снарядами и длинная цепочка войск, как гусеница растянувшаяся по степи, так же, как гусеница извивается, обходя развороченные места. И все чаще слышится окрик начальников и чаще передается по рядам предупредительное, заглушенное и сонное.

— Под но-ги-и!.. Под но-ги-и!..

И от этой, какой-то не человеческой, а совиной переклички, еще больше тянет ко сну и все сильней хочется спать. Глаза слипаются, степь расплывается в бесформенное пятно и уже не видно лагуны с беспокойно метущимися птицами и уже нет шеи коня...

— Под ноги-и-и!.. Под ноги-и-и-и!..

Колька вздрагивает и открывает глаза. Колонна обходит очередную выбоину дороги и Колькин конь беспокойно косится на развороченную воронку.

— Фу, чорт! Опять уснул! устало бормочет Шубин и зябко поеживается. Старым привычным ритмом глухо гремят, подпрыгивая на неровностях, пушки. И опять слипаются глаза, опять голова свешивается на грудь и рука с поводом падает на шею лошади.

Колька открывает глаза. Светает сильней. А дозоры все скачут и скачут к дальнему лесу. Дорога начала опускаться и степь разрезается широким оврагом. А там, дальше, новая лагуна, розовато зеленая и над ней опять беспокойные птицы.

Степь сползает в овраг. Колонна опускается все ниже и ниже, а дальний лес и скачущий к нему дозор, заслоняется гребнем оврага.

«Эх, посмотрел бы на нас командир роты» думает Колька. «Но корпус далеко. Боже, как далек корпус! А давно ли? Мальчики, кадеты, а сейчас возмужавшие добровольцы-охотники! Ах, да, Звериада!» пришло на память. И вспомнилось Шубину, как устроили Звериаду в отдельной тачанке с офи-

церскими вещами, как обернули тетрадь в толстую, синюю бумагу, наставили на ней дюжину сургучных печатей, приставили к тачанке Пупенкова и строго ему наказали: «Помни, что в этой тачанке секрет всей белой армии! А потому, охраняй усердно». Пупенков сказал: «Слушаюсь! Будьте благонадежны. Нешто мы, этих мазуриков коммунистов, допустим?» сел на тачанку и поплелся в хвосте обоза...

Медленно и широко просыпается степь. Уже пол неба из бледно-зеленого окрасилось в бледно-лиловую муть, а облака, как яркие огненно-розовые перья, разметались над степью. И хотя все еще сумрачно, еще не совсем убежал ночной мрак, но близкий рассвет чувствуется в каждой былинке, в каждом вздохе степи. Тихо. И вдруг:

— Тра-та-та-та-то! Затрещало по степи. Резкие залпы ударили по оврагу, понеслись от леса. Все метнулось в сторону, поскакало, закричало, застонало, заржало. Испуганный конь Шубина вынес его далеко от дороги и еще ничего не понимающий, полусонный Колька с трудом удержал его и оглянулся. Трупы людей и лошадей валялись на дороге, от леса бухала пушка, трещали пулеметы и у самой дороги с воем и визгом, рвались снаряды.

Вот скачет командир батареи, вон на гребень выскочила его батарея и рявкнула и начала огрызаться на лес. Вон, развернулась в цепь и побежала пехота, а вон, уже трещат и наши пулеметы и в дело входят все новые части колонны.

— На левом фланге красная кавалерия! услышал Колька, и вместо того, чтобы скакать к своей батареи, он круто повернул коня и поскакал на левый фланг...

Левый фланг, где находился Арчил, еще не вступал в дело и батареям было приказано не открывать огонь, чтобы не выдать красным своего присутствия. В дело были брошены только «дикие» и, когда они понеслись по полю, Арчил не выдержал, загорелся, затрясся и, как дикарь вылетел со своей пушкой на гребень оврага. И хотя он знал, что показать присутствие здесь артиллерии нельзя, но восточный пыл победил дисциплину. И вдруг, Арчил увидел, что низиной, во фланг стремящейся коннице, высыпала из-за холма горсть красных и спешно устанавливают три пулемета. Участь «диких» должна была решиться через минуту. «Диких»! Но ведь там, среди этих «диких», среди этих зверей, вынесшись на десяток саженей вперед, скачет молодой зверек корнет Горский. Еще вчера вечером он говорил Арчилу:

— Ну, кто прав? Благородный Горский, — корнет. Менее благородный Кикакидзе, — старший унтер-офицер. Совсем не благородный Колька Шубин, — как и полагается — простой артиллерийский разведчик. Но, не унывай, Арчил! Ты поддержишь меня в бою и получишь прапора, а Кольку я возьму к себе в деньщики. Ну-ну, голову выше, плечи разверни, грудь вперед! и он заливался веселым и звонким смехом и перегнувшись с седла, обнимал Арчила.

И во теперь, Горский на волосок от гибели. Значит, Горский был прав? Значит, предсказания Горского верны? Значит, Арчил будет спасителем Горского?

Арчил взвизгнул и, как бешенный, расталкивая прислугу, бросился к пушке.

Первый снаряд перелет, второй перелет, ррраз! и нет пулемета. Вон, побежало несколько человек, а вон ползут, корчатся, лежат на земле, замерли. И Арчилу чудится, что он даже слышит их стоны. Арчил засмеялся и почувствовал, как страшный зверь проснулся и задвигался в нем.

— Еще! Еще! кричит он.

Ррраз!

А где-то гремит уррра!.. Это «дикие» вошли в дело. Арчил оглянулся. От скрытой в овраге артиллерии скачет полковник Сысой, кричит, размахивает над головой плетью.

«Запорет нагайкой!» подумал Арчил и застыл на месте.

— Зачем?! Как смели?! Что это?! кричит, хрипит и брызжет слюной полковник. — Сволочи! Рас-стре-ляю!!...

Арчил протянул руку в направлении холма. Вон шесть неподвижных фигур, вон двое ползут, приподымаются, падают. Вон, исковерканные, сбитые пулеметы. Сысой оглянул местность и все стало ясно. Он даже не поблагодарил, а круто повернул коня и поскакал к расположению генерала.

Теперь Арчил знал, что делать; в ярком утреннем свете без бинокля был виден противник. Вправо от леса деревня, а влево далеко розовеет городок. От деревни на помощь красным скачут новые эскадроны. Арчил командует прицел.

«Бей их, Васька!» кричит в Арчиле проснувшийся зверь. «Бей, я тебе помогу!»

— Огонь! командует он и пушка ревет, вздрагивает и полыхает в сторону эскадронов. Еще и еще. Эскадроны сбиты, рассыпались, скачут обратно, но уже «дикие» вышли к деревне, смяли первую конницу и гонят мятущихся красных.

«Васька, бей, бей, бей их!» кричит в Арчиле нутро. «Эх, Васька, Васька, то ли дело твоя кавалерия!»...

Арчил хватается за бинокль, но, позади скачущий Сысой орет благим матом:

— Первое орудие за мной!

— Эх, не удалось расмотреть! печалится Арчил и скачет с орудием за командиром батареи...

Среди рослых, крепких, усатых и бородатых «диких», Горский выглядел мальчиком. На высокой вороной кобыле, припав к ее шее, он казался комочком и в руке этого комочка блестел и сверкал на солнце зеркальный клинок. В пылу атаки, Горский даже не учел бега своей лошади и теперь сильно выдвинулся впереди сотни...

Шубин не отнимает от глаз бинокля. Руки у Кольки дрожат, отчего Горский то исчезает из круглого поля зрения, то виден один хвост Васькиной лошади, то лошадиная морда, то пригнувшийся Васька, где-то вверху прыгающего кружка. Шубин даже не слышит, как ухнула вправо пушка Арчила и раз и другой и третий. Он весь охвачен атакой «диких» и его нервная дрожь стала передаваться его коню; всегда, как корова спокойный Алмаз нервничает, приседает на задние ноги, роет землю передней.

— А, дьявол! огревает его нагайкой Колька, берет в шенкеля и ставит на новое место.

Вот снова в кружке бинокля скачет Горский. Но вдруг, в кружок прыгнули спереди новые лошади и зеркальный клинок Горского поднялся несколько раз и опустился. Вот снова поднялась и снова опустилась шашка Горского. Вот, скачет рядом с ним свободная, без седока, рыжая лошадь и, так смешно подпрыгивая, бьют ее свободные стремена.

— Ах, зачем Васька так далеко вылетел впереди сотни?! кусая губы, тревожно спрашивает себя Колька.

Вот, Васька круто осаживает коня, вот «дикие» врезаются в массу противника, опрокинули, гонят его, все прыгает, все скачет и рассыпается по полю. И прыгает и скачет Колькин бинокль. С болезненной дрожью Колька ищет, ищет, ищет.

— Господи, сохрани его! Господи, сохрани его! шепчут его бледные губы. — Ну да, ну да, это же Горского лошадь! Господи, Горского, Господи Васьки Твоего, Васьки, сохрани...

Высокая вороная скачет обратно без седока.

— Но, где Васька? Где Горский? Господи, где же, где Васька?!..

Видно, как разметались по полю красные, скачут на холме, к деревне. «Дикие» мчатся за ними. Блестят, сверкают клинки. Но вот они поворотили коней и скачут обратно. Вон, Васькина вороная испуганно скачет бок-о-бок с какой-то рыжей, вон приостановилась, пропустила, как бы недоумевая, мимо себя сотню и уже скачет одна позади. А сколько комочков валяется по степи! Словно нарочно упали и притворяются спящими.

— Тра-ах! Трах! Тра-ах-ах!..

Шубин отнимает бинокль. Батарея бьет по деревне. Вон, поднялся дым, горит.

— Что горит? спрашивает себя растерявшийся Шубин. — Ах, да, деревня горит. А Горский?! Что Горский?! Где же Горский?! Васька... Вася... Вась!..

Кольке делается страшно. Похолодели руки, стягивает кожу лица и так больно запершило в горле. И поле и деревня и «дикие», все стало расплываться перед глазами.

— Васька! — кричит Шубин, бьет нагайкой коня, скачет навстречу «диким» и вдруг, страшная и смешная мысль врезается в мозг: «Горский переселился на Венеру... Горский любил Венерочек!..»

Колька сдержал коня, повернул обратно и опустив голову, шагом поехал к правому флангу. А позади, батарея полковника Сысоя, беглым огнем била по деревне...

До девяти вечера никто не мог предугадать, какая сторона выиграет бой.

Зарево вечерней зари заволакивалось дымом горевших предместий и по всему фронту не переставая гремела артиллерия. Казалось, не десятки, а сотни пулеметов трещали по всем направлениям и стрелковые цепи, то подымаясь бросались в штыки, то врассыпную разбегались по жнивью. Уже деревня, под которой убили Горского, осталась позади, а вправо и влево раскинулись новые две деревни и впереди, как на ладони, красовался белый, а сейчас розовый от заката, городок.

В девять, конную батарею оттянули к полусгоревшей деревне на высокую холмистую местность и расположили у рощи.

— Голубчик, Николушка! волновался командир батареи. — Скачи, ради Христа, к генералу. Неужели больше и в бой не пустят. Ведь за Россию, Николушка! За Русь! Сволочи!!. Стратегические мокрицы! Да ведь они, черти штабные, дело

проигрывают! Николушка, да на что нам пушки, если стрелять не дают? Скоты, маринованные! Объясни генералу, а то, чего доброго, я и самовольно займу позицию и войду в бой!..

Шубин сказал: — Слушаюсь! и галопом поскакал через огороды к деревне.

Внизу, по лощине, с криком «ура!» бежали красные (как жуки) и было видно, как наши цепи, частью отстреливались, частью разбегались, обнажая свой левый фланг.

«Вот бы картечью!» подумалось Шубину и он полоснул нагайкой своего Алмаза. «Отходят! Отходят!» со злобой и страхом подумал он. «Отходят! Эх, сволочи!» Он быстро вылетел на изгиб широкой дороги и в изумлении осадил коня...

Генерал сидел на крыше сарая и Колька увидел, как он махнул рукой, в которой держал бинокль, и весело закричал, перегибаясь в противоположную от Шубина сторону:

— Первая сотня ма-арш!

И тотчас через дорогу, откуда-то, словно из под земли, вынырнули станичники и на рысях потянули в лощину. А генерал продолжал махать рукой, в которой розовым поблескивали стекла бинокля, и кричал:

— Вторая и третья ма-а-рш!

Ах как хорошо видел все это Колька и, как всю жизнь не мог забыть этой картины!

В ста шагах от дороги, (как раз казаки переходили в намет) залитые вечерним солнцем, маячили оранжевые подсолнухи, а еще ниже, в лощине, розовым золотом блестела кукуруза. И сотня за сотней ровными, стройными рядами, тоже розовые от вечерней зари, все ускоряя и ускоряя аллюр, врезались в стену подсолнухов, исчезали в ней и вынырнувши на другом конце, врывались в кукурузу и, словно прокосив в ней дорогу, выскакивали на жнивье.

Крепкие, мощные, как один целый зверь быстрый в движении, скакала сотня за сотней. Казалось, сами лошади понимали важность атаки; ни одна не горячилась, все неслись стройными рядами, казаки сосредоточенно вытягивали шеи и Шубин увидел, как некоторые, на скаку, крестились.

Широкая дорога пролегала через подсолнухи и кукурузу и крайние от дороги растения, встревоженно раскачивали оранжевыми головами. Боже, как это было прекрасно и, как жестоко и, как торжественно!..

Уже в карьер шла первая сотня и видны были только крупы коней и не спины, а зады казаков, словно из этих задов и состояла вся сотня.

— Урра-а-а-а! раскинулось и загудело по всему полю.

— Четвертая сотня ма-а-рш! снова закричал генерал и снова сотня всадников ринулась в кукурузу.

Еще бешенней застрекотали пулеметы, еще бестолковей загремели пушки и вдруг, все стихло. Отдаленное, глухое и такое дорогое для сердца Шубина «ура!» казалось объяло всю лощину до самого горизонта. Колька привстал на стременах, замахал над головой нагайкой, заплакал и не понимая, что делает сорвал с головы фуражку и, дав шпоры, подскакал к сараю.

— Ура, генерал! Ура, ваше превосходительство! Урра-а-а!!.

Генерал поглядел на Шубина, узнал его, улыбнулся, поднял бинокль, навел на лощину и срывающимся, веселым и вместе с тем, словно плачущим голосом крикнул Кольке:

— Конная батарея в лощину и беглый огонь по правому флангу! Живо!

Как сумасшедший понесся к батарее Шубин и через три минуты, довершая дело атаки, конная батарея била по бегущим большевикам...

— Бинокль! Ради Бога бинокль! закричал Шубин и почти вырвал его из рук улыбнувшегося командира и навел на лощину.

На огромном просторе, по всему жнивью, кучками и в одиночку лежали люди, словно они спали под вечерним солнцем, так были недвижны и безмятежны и лицом вверх и на боку и на животе. Столбы дыма и земли взлетали далеко впереди батареи и, словно на перегонки, крохотные, как блохи, вприпрыжку бежали от этих столбов красные.

Трясущимися руками направляет Колька бинокль вправо. Как рои пчел рассыпались до самого города казаки, вспыхивают при вечерней заре розовые клинки шашек и видно, как в рассыпную скачет от них красная кавалерия, бежит пехота и, захлестывая ее, огибает поле четвертая сотня. А вот... и Колька задохнулся от звериного восторга; впереди одной из сотен, раненый в ногу, полубольной, мчится в тачанке лихой есаул Потоцкий и размахивает над головой шашкой. И Кольке вспомнилось, как еще вчера, полковник Сысой говорил полковнику Гейлю:

— Вы думаете, что Потоцкого рана удержит в тылу? Как бы ни так. Вспомните меня, что при первом деле, он прикажет гнать его тачанку впереди сотни!..

И еще видит Колька, как рядом с тачанкой Потоцкого скачет «безрукий» есаул Полейко (левую руку ему оторвало снарядом еще весной) и, взяв в зубы повод, размахивает над головой не шашкой, нет, а нагайкой!

Какие прекрасные звери эти казаки, эти Потоцкие и есаулы Полейко! А может быть это и не война, а просто кадеты высыпали в поле среди большой перемены и играют в войну?

— Урра-а-а-а-а!.. Урра-а-а-а-а!.. — несется со всех концов жнивья.

Но уже ничего не видно, опять слезы мешают рассмотреть, что происходит дальше. Он опускает бинокль и видит, как стороной, на пегом коньке, окруженный штабом, спускается в низину генерал.

— Урра! кричит ему Колька и размахивает биноклем.

Батарея молчит. Командир уже скачет к генералу, салютует и рапортует!

— Сон! Сон! шепчет Шубин — какой удивительный сон!..

И, чтобы убедиться в действительности, он ущипнул себя за ногу и вскрикнул от боли. Наклонился к ноге и увидел, как большое черное пятно расплылось по рейтузам.

— Я ранен? спросил он себя. — Где, и, улыбаясь, осторожно и любовно потрогал окровавленное место. Словно ножем вдоль ноги разрезало рейтузы и Шубин догадался, что это еще до отвода батареи к роще, его полоснуло осколком шрапнели.

— Ну да, ну да, я еще тогда почувствовал боль и почему-то не обратил внимание.

И он закричал, возвращавшемуся командиру:

— Господин полковник, я ранен! и в голосе его была такая радость и такой задор, словно он получил особенную перед всеми награду и теперь есть, чем похвастаться в батарее.

— Кстати, Николушка, вы одного корпуса с Кикакидзе? спросил командир.

— Так точно.

— И с Горским?

— Так точно. Мы одного класса.

— Жаль Горского. Хороший был молодой человек!

— А, что с Кикакидзе? опасливо спросил Шубин и даже

побледнел, ожидая ответа.

— Сейчас генерал произвел Кикакидзе в прапорщики, а вас предложил мне представить к Георгию.

Колька густо покраснел и приложил, запачканную кровью, пятерню к козырьку фуражки...

Начинало смеркаться.

Красные отступили по всему фронту, очистили город и спешно уходили на север.

Конная батарея снялась, выехала на дорогу и потянулась к городу.

Шубин не поехал на перевязочный, а наскоро сам перевязал ногу и двинулся с батареей.

Потный и запыленный адъютант проскакал мимо и на скаку крикнул:

— Вторая конная батарея в резерв!..

— Слава Богу! кто-то со вздохом облегчения сказал за спиной Шубина. Он оглянулся. Веснущатый солдатенок Максим снял шапку и крестится.

— Слава тебе, Боже! На отдых. Ну и делов было!..

Утром Горского хоронили на городском кладбище, а вечером, вспрыснув погоны Арчила, Колька глядел на Венеру и, вспоминая Ваську, сквозь слезы говорил приятелю:

— Ну вот, кадет Арчил — штаны замочил, ты и офицер, а Васька наш у Венерочек! За кем-то черед? Эх, Васька, Васька! И зачем мы его взяли с собой?!

— Судьба! Кисмет, как говорят турки. А тебя, брат, с Егорием?

Колька печально улыбнулся и тихо сказал:

— А помнишь корпус, крышу... Как это далеко!..

— Колька! вдруг, спохватился Арчил. — А ведь наша тачанка вместе с Звериадой и Пупенковым у красных!

— Как у красных?

— Ну да! Вчера, как красные отбили эту часть обоза, так и угнали в свой тыл.

— Жаль! грустно обронил Шубин. — Последнее наше звено с корпусом. А там... —

Он не договорил, отвернулся от Арчила и смахнул слезы.

А над друзьями, в темном бархате неба, сверкала, блестела и играла зелеными огоньками, затерянная в безбрежности космоса, такая далекая и такая яркая Венера. Блестела и словно смеялась веселостью Васьки:

— Люблю Венерочек!..

Три дня, в спешном отходе красных, Пупенков колесил на своей тачанке и все ждал, когда же примутся за «секрет всей белой армии»? Наконец, не выдержав томительного ожидания, он напомнил о себе комиссару.

День выдался серым, дождливым. Дороги набухли и лошади с трудом выволакивали из грязи тачанки. Комиссар ехал верхом в стороне от дороги, по жнивью, а обозные месили грязь, идя рядом с подводами. Когда комиссар приостановил коня и пропускал мимо себя обоз, поровнявшийся с ним Пупенков, сказал:

— Товарищ комиссар, сделайте милость, не ровен час, — весь секрет скрадут. Еще у белых наказывали: береги Пупенков, эту тачанку, в ей секрет всей белой армии! Вот я и сберег для красных начальников; авось теперь домой на побывку отпустят.

— Какой секрет? не понял комиссар.

— Да в тачнаке у меня тетрадь синяя. Печати проставлены. Белые говорили, что это секрет всей их армии. Вот, какие они сволочи, эти белые!..

Комиссар съехал на дорогу.

— Какие тетради?

— Не могу знать, мы не грамотны. Пакет у самом заду, под всем барахлишком.

Очередная остановка была среди поля, а потому, комиссар, достав пакет, не стал его вскрывать, а засунул под кожанную тужурку и сказал Пупенкову:

— Молодец, товарищ! Это, наверное, очень серьезные документы и я для тебя выхлопочу побывку.

— Попремного благодарны! обрадовался обозный. — Помоги вам Господь!

К вечеру обоз стал подтягиваться к железнодорожной станции и в сумраке непогоды, уже показались зеленые и красные огни семафоров. В ста саженях от дороги начинался лес и на его опушке показались всадники с красными звездами.

— Свои! обрадовался Пупенков.

Арчил решил во что бы то ни стало достать Звериаду. Он выпросился у Сысоя на сутки и ничего не говоря Шубину, отправился к генералу.

— Я вас не понимаю! выслушав Арчила, развел генерал руками. — Вы, офицер артиллерии и просите у меня людей для совершения кавалерийского маневра! Объясните точней.

— Я, ваше превосходительство, природный конник. Я кав-

казец. Кроме того, случайно мы не далеко от тех мест, где я, год назад, гостил у своих родственников. Я знаю эту округу почти наизусть. Если здесь углубиться в леса и пройти болотами, — оставляя степь позади и правей, — верст на восемьдесят, то к вечеру я выйду в тыл большевикам, уничтожу обозы и к утру буду обратно.

— Сколько же вам нужно людей?

— Если ваше превосходительство, вы дадите пол-сотни кабардинцев, то это вполне достаточно.

— Ну, хорошо. Я согласен. Что вам нужно еще?

— Красные звезды вместо кокард и больше ничего, ваше превосходительство.

— Согласен. С Богом!

Арчил получил смешанный отряд. В нем было двенадцать человек кабардинцев, шестеро донцов и все остальные драгуны. Все это были охотники, вызвавшиеся на опасное дело и, следовательно, люди испытанные и боевые.

Выехали чуть свет и углубившись в лес поснимали папахи и нацепили красные звезды.

Больше шли на рысях, молчаливые, сосредоточенные, хитрые и беспощадные, как звери.

На Кикакидзе была затасканная красонармейская шинель с оторванным хлястиком, винтовка, шашка, наган и у пояса две гранаты. Дело было задумано лихое и, если все пойдет хорошо, то почем знать, быть может и Звериаде суждено будет увидеть вновь белую армию...

В лесу было тихо и сумрачно. Душно пахло смолой и время от времени, в стороне, с шумом и клектом срывались тетерки и опять тишина воцарялась окрест, нарушаемая только мягкими ударами копыт, да глухими стуками и резкими криками дятлов.

К вечеру вся полусотня достигла опушки леса, развернулась и замерла. Впереди дрожали красные и зеленые огни семафоров и по топкой дороге медленно тянулся красный обоз.

Арчил снял винтовку, взял на прицел кожанную куртку и спустил курок.

Лихое дело удалось на славу: обоз до сотни подвод был уничтожен, а все, что было возможно захватить с собой было

захвачено, обозные лошади выпряжены, навьючены самым нужным, обозная прислуга взята с собой и на сумеречной дороге только сиротливо маячили разбитые и разграбленные тачанки и подле них валялись в грязи сорок человек зарубленной охраны и комиссар в кожанной тужурке.

Еще звезды не высыпали в небе, как полусотня, конвоируя добычу, укрылась в лесу.

— И не приведи Господь, — говорил Пупенков, ведя рядом с Арчилом свою, навьюченную добычей, лошадь, — не приведи Бог, как они, комиссар значит, на меня наганом нацелились. «Кажи, говорит, что у тебя за секреты есть?» Ничего, говорю, у меня нету, никаких белых секретов. А он прямо к тачанке. Выволок ваш пакет и себе запазуху. Вот каки они сволочи, эти красные!

Но все, что говорил Пупенков, шло мимо ушей Арчила. Милая Кадетская Звериада покоилась у него под шинелью.

Ночью прошли разгромленным хутором. Светила луна. И, когда огибали сараи, ветер потянул с пустыря и обдал всех тяжелым трупным запахом.

Луна заливала ярким светом и хутор и солдат и поляну и бледного немого, в белых портках стоявшего посреди двора и тупо глядевшего на спешивших мимо хутора всадников. И от этого лунного света, немой казался еще бледней (словно оживший покойник) и мнилось, что не от пустыря, а от него несло этим удушливым запахом разложения...

Чаще делали остановки, давая коням отдых, подолгу сидели в лунной росистой траве на полянах и чистым, розовым утром, прохладным и терпким, когда в лесу кричат и улюлюкают птицы, — переходили болота. За болотами потянулся мелкий лес, подымавшийся по отрогу холма. К полудню должны были соединиться со своими.

Арчил, ехавший впереди полусотни, поднял своего рыжего в галоп и остановил его на вершине холма. Солнце уже стояло высоко и припекало. Вправо от холма до самого горизнта тянулся лес, а влево уступами уходили поля, длинным голубым блюдом лежало в версте озеро и по берегу его тянулась деревня. Арчил вынул из-за обшлага карту и нашел озеро.

— Ага, деревня Гница! Еще сутки и наши займут эту деревню.

Вдруг, сухой треск ружейных выстрелов раздался со стороны деревни и тотчас лошадь Арчила закачалась и грузно рухнула на бок и Арчил еле успел соскочить с нее.

Скоро, спешившийся отряд Кикакидзе залег в цепь и ленивое пощелкивание началось с обеих сторон.

Вьючный обоз остался в болотной лощине и Пупенков говорил кучке столпившихся вокруг него обозных:

— Не иначе, как красные засаду устроили. А нам что, и у красных люди живут! Иной белый хуже красного. Разные люди бывают. А все же, красный свой брат!

Между тем, ленивая перестрелка шла своим чередом.

— Господин прапорщик! сказал, лежавший рядом с Арчилом, драгун. — Да может это и не красные, а наши придвинулись? Дозвольте с платочком пройти?

Арчил вынул из кармана платок и передал драгуну, а тот, нацепив его на карабин и размахивая им над головой, вскочил на ноги и побежал к деревне. Арчил приказал прекратить стрельбу. Выстрелы противника стали редкими, одиночными, но не прекращались. А драгун все бежал через поле и размахивал над головой белым платком.

Арчил приподнялся, встал на колени и поднял бинокль. И в то же мгновение его ударило в грудь и жгучая, острая боль затуманила рассудок. Он упал вперед, лицом вниз и все еще сжимая бинокль, как спросонья успел подумать: «Ранили!...»

Противником оказлся свой головной отряд и скоро команда Кикакидзе, выйдя на шоссе, продолжала свой путь, а раненого прапорщиак поместили в избу и им занялся доктор.

Пупенков говорил ехавшему с ним рядом драгуну:

— Теперь, значит, красных погнали. Белый верх держит. Слава тебе Христа. И такой это поганый народ красные, что не приведи Бог!

Вторая конная, вместо предполагаемого отдыха, шла вперед ускоренными переходами. Люди и лошади замучились и еще вчера, до нельзя усталый Колька, спал просто на позиции у пушки во время боя и его никто не будил, отлично понимая, что не спящего, как и спящего одинаково может достать снаряд. Так Колька и спал, а кругом рвались снаряды и двое в батарее были убиты и четверо ранены.

Кольке, как артиллерийскому разведчику, работы было по

горло, а тут еще загнали и как фуражира и как квартирьера.

В деревню Гницы вторая конная пришла поздно вечером, а Колька прискакал туда за час раньше, отделил своим три избы для постоя, дождался прихода батареи, разместил всех и еще слышал, что в деревне находится какой-то, подстреленный своими же офицер и, что командир батареи решил перенести его в свою просторную и чистую избу, но усталый Колька, не евши(как был в одежде забрался на печь и почти тотчас уснул. Еще краем уха, откуда-то, словно из очень далека, он слышал прерывистый шопот бабы:

— Солдатик! Слышь, солдатик! Придвинься. Ну же, придвинься ко мне, чо-орт! Я ж молодуха, слышь, при-и-дви-нсь!..

И он еще почувствовал, как баба тянула его за рукав, но вслед за этим все провалилось, исчезло и он уснул.

Проснулся он не сразу, словно сознание не хотело возвращаться к нему и он, то понимал, что от него хотят и уже подымал голову, чтобы оторваться от ложа, то вновь истомный туман заволакивал все, отодвигал за глухую стену и он опять засыпал. Но его приподымали легонько трясли и неожиданно сказали очень знакомое слово: Какидза. Колька насторожился и открыл глаза.

— Господин вольноопределящ, а господин волньоопределящ! тряс его за плечо солдатенок Максим. — Полковник требуют. Говорят, ваша Какидза помирает.

Колька вскочил и, как безумный вытаращил глаза. Еще секунда и он, соскочив на пол, метнулся к двери, выбежал на дорогу и растрепаный, без фуражки побежал к избе занятой командиром.

Чуть светало. Было свежо (зябко) и как-то странно торжественно.

В избе командира горел свет и какие-то тени шарахались у окна . И это желтое окно на фоне бледного неба и черный силуэт избы и мутный провал полей и печальное серое озеро и резкий контур дальнего леса и бледные, потухающие звезды и неожиданный крик петуха где-то за плетнями, все это навсегда, на всю жизнь врезалось в память Кольки.

Когда он вошел в избу, то сразу почувствовал, что происходит какое-то жуткое, холодное таинство.

Арчил лежал белый, как бумага, с синими запекшимися губами и его черная, взбитая шевелюра и узкие брови, казались еще гуще и еще черней. А около его походной койки,

узкой и неудобной, полукругом в молчании стояло несколько офицеров и врач.

Полковник, заботливыми, отеческими глазами, взглянул на вошедшего, такого бледного и такого испуганного Шубина и отодвинулся, чтобы пропустить его к другу, а доктор тихо сказал:

— Правое легкое на вылет. Загрязненная рана. Агония...

Колька, захлебываясь слезами, с лающими рыданиями упал перед умирающим на коленки и потянулся к страшному и дорогому лицу. Арчил открыл глаза и сразу узнал друга. Он чуть улыбнулся краем губ и легкий румянец залил его щеки.

— Коля... храни, брат... достал... теперь твой... черед хранить... а помнишь... на крыше сговаривались?.. вот и конец...

Он говорил с трудом и вместе со словами, из горла вылетал булькающий храп.

— А я... к Ваське... — продолжал он — ... к нему... на Венеру... вот и не придется... тебе-то вестовым... у меня...

— А я... к Ваське... — продолжал он — ... к нему... на Ве-

Легкая судорога пробежала по его лицу, но он пересилил себя и чуть улыбнулся. Приподнятая в улыбке первая бровь тотчас же опустилась и застыла страдальческой складкой.

— Прости... — уже с трудом шевелил он губами — ... прощай брат!..

И опять клокочущий шум в груди прервал его слова, глаза закрылись и на губах запузырилась красная пена.

Колька уже плакал громко, навзрыд, а за окном кричали петухи, светало и было слышно, как где-то далеко стрекотал пулемет.

Колька рыдал все сильней и громче и вдруг, закричал диким голосом:

— Арчил! Арчил!..

Врач склонился над раненым, тотчас поднялся и сказал:

— Кончился!

Ничего не понимающий, обезумевший от горя Колька поднялся на ноги. Врач протянул ему толстый синий пакет и сказал:

— Вот это, он просил передать вам.

Шубин машинально принял пакет, осмотрел его и новые

рыдания подступили к горлу: пакет был в пятнах крови Арчила...

Холодным осенним вечером, когда в сумерках над кадетским садом топорщился электрический огонек, Колька шел знакомой дорогой, шел одинокий, печальный, готовый ежеминутно повернуть обратно и бежать от этих, таких дорогих и таких тяжелых по воспоминаниям мест. В замызганной шинеле все того же артиллерийского разведчика, но уже с двумя белыми крестикмаи на груди, он уже не был тем порывистым и быстрым в движениях кадетом Шубиным, а казался со стороны большим, пожилым человеком. Только год, только один, вырванный из корпусной жизни, год придавил и искалечил кадета! Еще в поезде он узнал от соседа, что их корпус отвели под беженский лазарет и спросил:

— А не знаете ли вы, здесь ли еще капитан Черкассов?

— Черкассов? переспросил сосед. — Черкассов... да, знаю. Он застрелился.

— Как застрелился? Почему?

— Не знаю. Говорят, томился событиями и не выдержал. Да-с, события! Скоро каждая деревня будет выбирать президента. Вы только с позиций?

— Да.

— Я тоже недавно здесь. Сдается мне, что пора кончать эту нелепость.

— Нелепость? Какую нелепость? не понял Колька.

— Да всю эту войну.

— Помилуйте, какая же это нелепость? Люди борятся, страдают, гибнут в мучениях, а вы называете это нелепостью.

— Потому-то и называю, что все страдают и борятся. А кто прав? Вы думаете наверное, что правы только мы? А я думаю, что правы все!

— Как все?

— Да просто, все! и городовые и матросы и коммунисты и офицеры.

— Простите, но я ничего не понимаю.

— А чего проще: ведь, если человек идет на страдание и смерть, значит он верит в свою правоту. Разве не правда?

— Конечно.

— Ну, а разве не погибали сознательно: городовые, матросы, коммунисты и офицеры? Или вы готовы утверждать, что

только люди с вашей идеологией умирают сознательно, а все остальные умирают не сознательно? Ведь это чушь!

— И, что тогда — тревожно спросил Колька.

— А тогда — один выход: каждый прав. И отсюда, страшная нелепость вся эта бойня! Ведь все эти городовые и буденовцы и матросы и офицеры, все они безгранично любят Россию и все они рвут ее на дыбе и все умирают за нее потому, что все они хотят ей только счастья, но каждый по своему понимает ее счастье!

— И что нужно? спросил Шубин.

— Любовь! сказал собеседник. — Если хотите, то вся эта гражданская война, только жуткая звериада.

Колька улыбнулся и любовно ощупал под шинелью пакет с Звериадой.

«Да, пожалуй, мой сосед прав!» подумал он.

Идя со станции, Колька обдумывал, где бы зарыть Звериаду, чтобы потом, когда кончится война, отрыть ее и передать молодым кадетам. Он зашел в лавку и купил несколько листов пергамину. «Оберну» решил он. «Будет сохранней».

Еще в поезде, мечтая о встрече с корпусом, Колька написал стихотворение и вот теперь, подходя к дорогим местам со стороны сумеречного сада, он вдруг, остановился и невольно прислонился к каштану; так закружилась голова и так до боли сжалось сердце. Ну да: вон из-за рваной желтизны деревьев показалась родная крыша. Крыша! Та самая крыша, на которой он сговаривался с Арчилом! А вон, окно чистилки и береза, по которой они спускались в сад, вон и решетка, через которую они перелезали... как будто вчера. Дыхание у Кольки сперлось, сердце забилось часто-часто и в горле запершило. Мысли у Кольки путались, метались, жгли и давили его: «Горский... Арчил... Васька дурачится... а потом... там... череп разрублен до самого рта... и у Арчила красная пена на губах...»

Он вынул из кармана написанное в поезде стихотворение и почему-то стал читать вслух:

Ну, здравствуй наш кадетский корпус!
Ты и печален и уныл.
Прости, ушли твои кадеты
И ты, конечно, их забыл.
Тебя набили тени — люди.
Проклятья, стоны, вонь и чад...

А помнишь, как друзья бежали
Вот через этот самый сад?
Один в бою, другой у Гницы,
Убиты оба. Я один
Смотрю в печальные глазницы,
Судьбой сраженный гражданин.
Где страх смешон, а песни жутки,
Мы пили кровь, а не вино!
И вот, Арчилу и Васютке
Узреть тебя не суждено...

— Какая галиматья! сказал он, перечел, засмеялся. — Чушь! Вот, действительно, чушь! И бездарно и глупо! и вдруг, припав лицом к стволу каштана, истерично расплакался. Он плакал, смеялся сквозь слезы, по детски утирал кулаками глаза, потом достал из-под френча Звериаду, зашитую в толстую холстину, обернул ее в несколько листов пергамина и, все еще вдрагивая от душивших его рыданий, присел у каштана и стал быстро ножом раскапывать землю...

Колька уходил не оглядываясь, почти бежал с глазами полными слез и не видел, как из-за деревьев вышел кадетский сторож Никифорыч, как разрыл он свежую могилу Звериады, дрожащими руками извлек объемистый пакет и, отряхнув с него землю, быстро скрылся в направлении корпуса.

В подвальной комнате, при свете топившейся печурки, Никифорыч торопливо вскрывал пакет. Голова его тряслась, руки дрожали, на лбу крупными каплями выступал пот.

— Ишь, ты! Денжищ-то, денжищ-то! Ну и сволочи! Ну и солдаты пошли! Не иначе, как награбил, мерзавец! А может и зарезал, а может и с мертвого снял. Вот грех-то, прости его Господи! Чужое-то... краденное-то... а? А еще солдат, честь русская, и не стыдно, собаке?!.

И он, вспарывая парусину, мечтал уехать на хутора и зажить на эти деньги порядочной жизнью.

— Теперь я кум королю! говорил он с дрожью в голосе, вытягивая из парусины синий с печатями, пакет.

Но вот, и пакет вскрыт и двадцать раз переворачивает он страницы тетради, встряхивает ее и, обезумев от злобы топчет ее ногами. От обиды он плюется, рычит и слов нет и вместо ругательств, какое-то клокотание. И, наконец, он швырнул тетрадь в печь.

Синими, золотыми, зелеными и красными огнями вспыхнула Кадетская Звериада и в этом метущемся пламени горевшей бумаги, словно послышались отдаленные голоса Арчила и Васьки:

— Прощай, Звериада! Прощай, Колька! Прощай, глупый Никифорыч!..

А Колька шел мокрыми улицами южного городка и тяжело и неуютно было у него на душе.

ВОСПОМИНАНИЯ О РОССИЙСКИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ.

Уверенно могу сказать, что немногим кадетам пришлось провести свои кадетксие годы также, как мне, побывавшему в трех кадетских корпусах.

В 1904 году мой отчим, в июне месяце, отбыл в действующую армию со второочередным Чембарским полком. Моя мама, по уже решенному назначению, отвезла меня, десятилетнего мальчишку, прошедшего приготовительный класс Бобруйской гимназии, на приемные экзамены в Первый, Императрицы Екатерины Второй, Московский К. Корпус. Успешно сдав экзамеын, я был принят в корпус. Пробыл в нем я до октября 1905 года и вылетел из него, как неисправимый шалун. К счастью, меня сразу приняли в Орловский Бахтина К. Корпус, благодаря хлопотам моего дяди, Нежинского гусара. В Орловском корпусе я пробыл второй, третий и четвертый классы и в феврале 1908 года, меня снова выперли. Дело мое было швах, мама решила меня отдать в гимназию, но я летом написал письмо на Имя Вел. Князя Константин Константиновича, в котором обещал исправиться. К моей радости ответ пришел скоро — «прибыть в мае 1909 года и держать переходные экзамены в пятый класс». Опять моя мама поехала со мной в Полоцк и, как сейчас помню, мы приехали 9 мая, как раз на третий день, после знаменитого боя на плацу копруса, но об этом речь будет впереди. Экзамены мною были сданы отлично, особенно по математике, и я был принят в пятый класс. Теперь я поделюсь своими воспоминаниями о каждом корпусе.

Пробыв со мною дня три в Москве, к назначенному сроку, мама привезла и оставила меня в Первом Московском корпусе. Помещался он в громадном Лефортовском дворце, построенному по велению Императрицы Екатерины Второй. Он был настолько велик, что в левой его половине, смотря на фасад, помещался Первый, а в правой половине Второй, Московские Корпуса. Мы носили красные погоны, а соседи синие, третий корпус носил белые, а четвертый черные. В мое время четвертый был уже упразднен и на его место перешло Александровское пехотное училище. Директором первого корпуса был Генерал Майор Римский-Корсаков, четвертой ротой командовал полковник Джунковский, а моим воспитателем был капитан Лопатин. Первые месяцы были игры и шалости, мы знакомились друг с другом. К сожалению в корпусе завелась не совсем хорошая привычка задирать новичков. Были частые драки, «поединки храбрости». Неизбежал этой участи и я. Как-то в уборной меня затронул один из братьев, близнецов, Киреев, подстрекатели с обоих сторон постарались и мы подрались. Драка была коротка, мой противник упал и его сторонники оттащили меня и тем дело кончилось, но меня уже избегали задирать. Да это и не мудрено, ибо я с маленьких лет привык к дракам, проводя время на воздухе и в воде. Нас новичков, второклассники, изводили как только могли; мне вспоминается «вызывание духов». Нас зазывали в шинельную комнату и тушили электричество, производя шум вызывали духов. Шинели висели под широкими полками, на которых лежали наши чемоданы, корзины, и свертки, хитрые второклассники стояли по углам под полками; в условный момент появления духов, на новичков с полок начинали сыпаться корзины, чемоданы и новичкам разбивали головы, плечи и добросовестно калечили, часто и до крови. Появились заболевания скарлатиной. Заболел и я, пролежав в лазарете две недели. Когда я вернулся в роту, то увидел очень веселенькую картину: по залу роты неслись тройки, пары и одиночки впряженные в чемоданы, корзины или коробки, которые возили второклассников. В мою корзину влез третьегодишник Маймулин и погонял новичков. Мои вещи были расхищены и мне было особенно жаль поясной бляхи с накладным орлом — гордость каждого кадета. С той поры я совершенно изменился и стал считать всех, как бы виновными в расхищении моей корзины и уничтожения ее, поэтому я стал очень драчлив и бил за

всякий пустяк. Меня наказывали, но это на меня не действовало. После многих замечаний я выкинул трюк, за который и поплатился. Во втором классе я решил спрятаться на уроке Закона Божия в шкаф, который находился в самом же классе, где кадеты хранили свои повседневные шинели и фуражки. Я устроил внизу логово и сидел тихо пока не заснул и, раскрыв дверцы шкафа, не выкатился из него. Батюшка в испуге начал креститься, приговаривая: «с нами Крестная Сила»! Сила, только не крестная, меня и выперла из корпуса. Был конец октября 1905 года. Как я уже упомянул, мой дядя, как предводитель дворянства Орловской губернии, быстро устроил мой перевод в Орловский — Бахтина кадетский корпус. Директором был Генерал Майор Лютер, первой ротой командовал полковник Шахов, второй полк. Депиш, третьей полк. Рыков. Период перехода из второго класса в третий прошел для меня как-то незаметно, но со времени приезда из отпуска в третий класс я запомнил все хорошо. Мой отделенный воспитатель подполковник Василий Александрович Муромцев, мало любимый офицер, а как воспитатель совсем не понимающий кадетские души. В третьем классе я очень увлекся рисованием, гимнастикой, а зимой бегом на коньках, имея чудные «норвежки».

Штрафной журнал был украшен моей фамилией в весьма обильном виде, к тому же я научился в четвертом классе покуривать, конечно тайно от начальства. Весной 1908 года мама приехала в Орел по делам и я получил отпуск. Возвращаясь из отпуска, имея деньги, я решил купить папирос и табаку, что и привел в исполнение. Поднявшись на второй этаж корпуса, я увидел, что в коридоре роты стоял дежурный офицер, подполковник Афросимов, внимательно смотря на меня. Скрыться было невозможно, я открываю дверь и вхожу с надеждой швырнуть пакет, проходя мимо моего класса. Не удается мне проделать и этот фокус, Афросимов, не переставая, смотрел на меня. Я шел напрямик, — будь, что будет. Подхожу, рапортую и, опустив правую руку, под шинель в накидку, беру из левой руки отпускной билет и подаю Афросимову. А что у вас в левой руке? я молча, подаю ему покупку, он берет ее и уносит в дежурную комнату, а через минуту выходит и говорит: папиросы принесли, так я и запишу в штрафной журнал, ступайте в класс. На другой день Муромцев меня распек и припугнул исключени-

ем из корпуса, наложив наказание: под штраф на неделю по два часа перед сном. Несколько позже в роте назрел план бенефиса подполковнику Джомардидзе, самому нелюбимому воспитателю; меня освободили от участия, но тем не менее, придравшись к случаю, меня и еще четырех кадет выперли. Вернувшись в Бобруйск домой и, перенеся горькие упреки мамы, приуныл и я сам. Мама же решила отдать меня опять в гимназию, наняв мне репетитора, выпускного гимназиста, милейшего человека, по фамилии Устимович, из бедной семьи. Учиться я был очень способен, а вот вольная натура искала только случая, чтобы выкинуть какой-нибудь трюк. Устимович преподавл мне латинский язык, алгебру, геометрию и тригонометрию и, надо отдать справедливость, преподавал так, что я просто полюбил математику. Однако, мысль быть в гимназии меня совсем угнетала и осенью я, тайком от мамы, написал письмо на имя Великого Князя Константина Константиновича с просьбой принять меня снова в корпус с обещанием полного исправления по поведению. Ответ пришел довольно скоро. Великий Князь, редкой души человек, приказал принять меня в Полоцкий кадетский корпус с условием держать переходной экзамен в пятый класс в мае 1909 года. Радость моя была превеликая, хотя я и терял один год. В третий раз мама повезла, своего любимца сорванца, в новый корпус. Мы приехали в Полоцк, как сейчас помню 9 мая, три дня спустя «великой битвы» на плацу корпуса, об этом событии я потом напишу подробнее. Экзамены я сдал отлично, особенно по математике и я снова кадет Полоцкого кадетского корпуса. К началу нового учебного года я уже поехал самостоятельно. Как город Полоцк, так и корпус внушали какое-то чувство тишины, спокойствия, патриархального уюта, что очень успокаивало сердце. Явившись в корпус я был принят ласково кадетами второго отделения пятого класса, в составе 22 человек. Такое чувство сохранилось у меня и до сего времени. Воспитателем у меня был подполковник Сергей Михайлович Страхов, по виду высокий, худощавый сухой человек, но доброй души и справедливости, директором корпуса был Генерал Майор Модест Григорьевич Чигирь очень подтянутый, не высокого роста, не ласковый, но в высшей степени справедливый человек, первой ротой командовал полковник Свентицкий, по прозвищу Зоб, хлопотливый, настоящий ротный «отец командир». Инспекто-

ром классов был полковник Энгельгард добрый, сгорбившийся педагогический человек. Само помещение корпуса, хотя и было лучшим зданием в городе, но слишком маленьким, чтобы в нем могли поместиться четыре роты. Полоцкий корпус был трехротного сотава; третья рота состояла из первого и второго классов по два отделения каждый; вторая рота из третьего и четвертого классов и одного отделения пятого класса; первая рота состояла из очередного отделения пятого класса, которые ежегодно чередовались, и двух отделений шестого и седьмого классов. Первая рота была строевой так как на парады выходила с винтовками. Мне повезло, ибо второе отделение пятого класса, где я был, в этом году входило в первую роту. Кроме того я сразу был принят в оркестр для игры на корнете эс, что считалось трудным инструментом. Первая рота имела уже свои старые традиции; помимо обще-кадетских, как честь, гордость, верность, преданность Царю, Родине и Вере, у Полочан были свои особые традиции. При выдаче винтовок пятому классу, кадет, получивший ружье ставил его, на определенное место в стойке, запоминая № ружья и место, чтобы при спешке быстро брать винтовку, а сам, неся отвертку, щетку и тряпку для чистки, должен был пройти через шпалеры семиклассников, которые ладонями, а то и кулаком лупили по спине нового строевика. Это называлось «боевое крещение», и мы приравнивались ко всей первой роте. В каждое отделение первой роты выдавались две тетради, за подписью майора, иначе говоря, застрявшего семиклассника на второй год кадета, одна для приличных, другая для неприличных ОСЛОТ, в эти тетради записывали остроумные выражения кадет. Эти тетради хранились до вечера 5 декабря, когда перед Праздником Корпуса, накануне вечером, при большом сборании и даже воспитателей, читались эти ослоты и трем, наиболее наосливишим, на кобыле загибали салазки, под барабанный бой, при дружном смехе собравшихся. В тот же вечер тайком была приносима присяга: хранить и передавать традиции, как написано в книге, перед Звериадой, которую тоже читали в этот вечер. К корпусному празднику каждое отделение во всем корпусе украшалось особыми щитами, мое отделение изготовило малиновый бархатный щит с портретом Наследника Цесаревича в Его пятилетнем возрасте. Кадеты входя в седьмой класс, обязаны были перекреститься перед образом, иначе его застав-

ляли выйти и снова войти. Во всем корпусе был обычай: гнать к сучку, в том случае если находили виновника явно или тайно портящего воздух и, лупя, кричали: «к сучку его, к сучку!» Виновный должен был найти где-либо сучек и держать на нем палец. Любители носили в кармане уже заранее припасенный сучек. Весной 22 марта, мы старались проскочить на плац без шинелей, ведь был первый день весеннего сезона. Когда выбегали малыши, то выпускные кадеты, из своих окон, на третьем этаже, брызгали на них водой и кричали: «зрей брусника, зрей!». Седьмого октября был парад перед бомбой. Дело в том, что в нижнем этаже в стене крепко засело ядро во время боев корпуса генерала Витгенштейна, гнавшего французов, но кто его запустил было неизвестно, в корпусе его считали Витгенштейновским. Парад этот был запрещен, но происходил он очень быстро; в ближайший день к 7 октябрю, когда первая рота выходила на прогулку с ружьями и оркестром, майор выпуска, приняв маленький парад, обтирал бомбу ватой, смоченной в водке, артиллеристы ромом, а кавалеристы коньяком и все целовали бомбу, так же и все кадеты, в тот день, проходя мимо целовали ядро, вокруг которого была бронзовая, круглая табличка с черной гравировкой: «7 октября 1812 года». В 1912 году генерал Чигирь, сознавая, что лучше разрешить нам исполнять эту старую традицию без суеты и скрытности, ибо кадеты все равно будут ее проводить, что он и сделал. В пятом классе, когда проходили по физике сложение сил, действующих на тело, похожее на «картошку», то от ответа, в первый раз, надо было отказываться отвечать, даже если ставили кол, но на другой день можно было этот кол исправить. Самой же главной традицией корпуса была та, что несмотря на возраст и чин все были на «ты», и было иногда занятно наблюдать, как малыш кадет говорил старому генералу ты, приводя старого вояку в умиление. У нас была еще традиция: по окончании в седьмом классе последнего урока, когда отбой играл на трубе кадет «всадник перестань отбой был дан остановись», то будущие юнкера, забивали гвозди в расписание уроков, которое предварительно было налеплено на очень толстую доску, гвоздь забивался в нелюбимого, по желанию кадета, преподавателя. При мне самый огромный гвоздище забили батюшке. Потом эту доску тайком ставили в дежурную комнату и воспитатели с интересом, и коммен-

тарнями разглядывали доску и им очень понравился громадный гвоздь, кроме того, это им объяснило, как кадеты относились к учителям. Все эти традиции и обычаи крепко связывали полочан и потому нас называли «жидами», — один за всех и все за одного! В мое время в корпусе произошли события, о которых следует вспомнить. Юбилей и открытие бюста, герою Порт-Артура, Генералу Роману Исидоровичу Кондратенко. Гимнастическое состязание корпусов Петербургского района, включая Полоцкий и Псковский корпуса. Гимнастический сокольский слет 22 корпусов и перенесение мощей Преп. Св. Евфросинии Полоцкой. В 1910 году корпус праздновал 75-летие со дня своего существования, которое приурочили к дню корпусного праздника. Уже задолго старшие классы были заняты декорированием. Кафельные печи, их было четыре, специально загрунтованные, кадеты расписали в общем коридоре; одна — кадетом Яценко, написавшего «геральда, а вторая мною, написавшего трубача Гусарского ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка. В зале роты, украшенного в русском стиле, одна печь, в исполнении кадета Гайгера представляла «Аленушку» Васнецова, а моя была «Ночь» из сказок Билибина. Мне поручено было декорировать главный зал с условием не забивать нигде ни одного гвоздика, задача трудная, но выполненная без обмана. Одна печь главного зала была с картиной «боярышни», работы Гайгера с поправкой Юлия Генриховича Рейнхарда, преподавателя рисования, общего любимца, под боярышней было расписание танцев. К юбилею съехалось около 150 человек, генералов, штаб и обер офицеров и пяток штатских лиц. Прибыл и Вел. Князь Константин Константинович с Супругой Елизаветой Маврикиевной и с сыном Олегом Константиновичем, числящегося в списках корпуса. После всенощной 5 декабря, гости разбрелись по всем помещениям корпуса, больше всего в первую роту, в которой происходило чтение «ослот» и трем приличным и трме «неприличным» под барабанный бой, под дружный смех, загибали салазки на кобыле. На другой день в шесть часов утра оркестр кадет, в полном составе, исполнял наш собственный встречный марш и пол часа играл разные вещи. За это время все роты должны были быть построены к утренней молитве, а после чая с сладкой булкой, через полчаса идти строем в церковь. К параду строились в Александровском зале, где был бюст Вел. Князя Михаила Николаевича и другой, покрытый полотном. Перед парадом состоя-

лось открытие и освящение бюста Генералу Кондратенко. В. К. Константин Константинович поздравил корпус и огласил Высочайшее Повеление: Полоцкому Корпусу впредь именоваться: ПОЛОЦКИЙ ГЕНЕРАЛА КОНДРАТЕНКО Кадетский Корпус. Произвели перестроение так, чтобы в первой шеренге шли наистарейшие по выпускам и до последнего младшего отделения. Прохождение церемониальным маршем представляло незабываемую картину: в первой шеренге шел один генерал в форме Тверского казачьего войска, во второй три генерала, один из них в артиллерийской форме, затем шеренги увеличивались и увеличивались, дойдя под конец до двух рядов. Особенно красив был взвод с двумя кирасирами на правом фланге Малороссийским и Новотроицко-Екатеринославским. Первый поручик Турчанинов, когда Вел. Князь обратился к нему: здравствуй Турчанинов! ну как живешь? и тут же Турчанинов, ответив как полагается, покорнейше просил крестить у него ребенка, так как В. К. крестил у него всех детей. Да сколько же у тебя ребят будет? спросил В. К., Ваше Высочество столько же сколько у Вас! После обеда, когда служителя убирали столовую, мы словчились залезть в малый зал, где был стол «а ля фуршет» для гостей и мы навалились на разные закуски, помню — рокфор мне тогда не понравился. Скоро нас нахлопали и погнали вон, но без последствий. Вечером бал с котильоном, когда на двух пушках, ввезли корзины с жетонами и предлагали дамам брать любой, а кадеты брали такие же и искали свою даму с таким же жетоном. Это вызывало и смех и интерес. Мне случайно привелось танцевать с не молодой, но очень красивой, графиней Паллавичини, обрусевшей флорентийкой. В 1911 году, отборную команду из 20 кадет, на масленной неделе, повезли в Питер на состязание по гимнастике и фехтованию. Нас, Полочан, удивляла величина помещений Первого корпуса, в котором поместились три Московских, Псковский и Полоцкий корпуса. Состязания быстро прошли. Первый приз по гимнастике взяли Псковичи, мы были вторыми, третьими Николаевцы петербужцы; по фехтованию на рапирах мы первые, вторые Первый петербургский и третьи Псковичи. По возвращении в корпус начали подготавливать сборную команду из 26 кадет, для участия в сокольском слете, который должен был состояться в конце мая месяца, в Высочайшем Присутствии. Слет предвидел сбор 22 корпусов, пом-

ню, что не было Хабаровцев, из-за дальности расстояния, моряков и пажей. Перед началом выступления прошел сильный, короткий дождь, после которого на плацу остались лужи, но это не могло задержать парадный слет. Нас построили в две колонны, на очень большом расстоянии одну от другой, кроме того каждая колонна состояла тоже из двух колонн, но на короткой дистанции между ними. Помню, что полочане были впереди левой колонны. Точно в 11 часов оркестр Преображенского полка, при подходе автомобиля Государя с Наследником, заиграл встречный марш Военно-Учебных Заведений, за Государем следовала Государыня, Вдовствующая Императрица, Четыре Великие Княжны, а перед ними матрос Деревенко нес на руках Наследника Цесаревича. Все Высочайшие Особы поднялись на пышную трибуну и оркестр умолк. Государь громко поздорвался и монолитное, не сорванное, радостное «здравия желаем!» разнеслось по Стрельненскому полю. После этого, под марши, мы начали производить замечательно красивые, всеобразные, перестроения для сокольского строя по три, для групповых упражнений, все эти движения мы делали идя часто по лужам и, при бодром шаге, у нас из под ног летели брызги, на которые никто не обращал внимания. После эфектных сокольских групповых упражнений мы проделали уставные упражнения на кобыле, брусьях и на турнике, затем нам предоставили возможность на любом снаряде показать свое искусство. Я лично на турнике вертел переднее и заднее солнце пока меня не остановили, по команде мы снова построились и Государь, взяв Наследника на руки, обходил строй кадет и благодарил за отличную подготовку. Когда спросили Наследника, что ему больше всего понравилось? Он, размахивая ручками, сказал: когда кадеты шли и разбрызгивали воду. После полевого, обильного, завтрака с жидким вином, мы покинули гостеприимный Первый корпус и вернулись в корпус, чтобы держать переходные экзамены, после которых уехали проводить летние каникулы. В 1912 году, уже после выпускных экзаменов, корпус принял участие в торжествах перенесения мощей Св. Препод. Евфросинии, Княгини Полоцкой. Прибыли В. К. Константин Константинович, Греческая Королева Ольга Константиновна, Князь Олег Константинович, он же знаменщик корпуса было это в последние дни мая. Рано утром, ясного жаркого дня, корпус, имея во главе ландо с Королевой, Ве-

ликим Князем и директором, значительно впереди колонны, а первая рота со знаменем, которое нес Олег Константинович, с оркестром, под звуки маршей, двинулись навстречу крестному ходу. Прошли мы верст пятнадцать, остановились, привели себя в кое-какой порядок и увидели вдалеке, приближающуюся процессию. К нам подошло Духовенство, за ним Богомольцы несли Раку Св. Евфросинии, тут остановились на несколько минут и снова двинулись вперед, после Раки пошли Высокие Гости, наше знамя, оркестр, все время исполнявший «КОЛЬ СЛАВЕН», еще при приближении крестного хода, по очереди с оркестром 5 железнодорожного батальона, стоявшего в Полоцке. Пыль была страшная настолько, что когда ударял большой барабан, то пыль с него скатывалась толстым слоем. Процессия проследовала в Спасо-Евфросиниевский монастырь, где Рака Святой, после следования из Киева по Днепру до Орши, откуда Богомольцы донесли ее до монастыря, была поставлена в склеп.

Теперь я исполняю обещание рассказть о «бое» на плацу корпуса. Плац, окруженный старыми деревьями и оградой из деревянных брусьев, на нем кадеты и публика гуляли вместе, пока не произошел следующий случай: в воскресенье 6 мая, после обедни и завтрака кадеты, как всегда, выбежали на прогулку и вдруг увидели на брандмейстере Синайском жетон корпуса. Откуда? на каком основании? «Ну, и знаете, я же ваш!» Жетон с него сняли, но он оказал сопротивление и тут пошла рукопашная, ибо к нему на подмогу прибежали свои же пейсатые пожарники, а в битву вступила и вторая рота. Гуляющая публика бросилась убегать кто - куда, но пожарникам досталось порядком. Пять кадет вместо военного училища, пошли вольноперами в полки, а плац огородили железной, в рост человека, оградой. Кроме того когда выходили на плац кадеты, то гулять с ними одновременно могли только корпусные семейства, или их родные. Городская публика могла пользоваться плацом в то время, когда кадеты были внутри здания.

Подходя к окончанию моего очерка, я хочу написать и о том, как мне довелось исполнить мое обещание Великому Князю быть исправным кадетом. Я исправился, но особенным образом. При переходе в седьмой класс я уехал в отпуск, имея 5 по поведению, тогда как надо было иметь минимум 7. По возвращении с каникул, являюсь дежурному офицеру,

как раз моему Страхову и отрапортовав жду команды «ступайте», но вместо этого он меня приветствовал такими словами: «слушайте Стефановский комитет решил, что вы самый скверный кадет в корпусе; по учению вы очень хороши, а поведение на 7 вам прибавили не желая вас исключать. Дайте мне слово, что вы исправитесь». Слушаюсь, постараюсь, господин полковник! Нет, нет не постараюсь, а дайте мне слово в том, что вы исправитесь, я за вас поручился!» Исправлюсь! господин полковник, сказал я тронутый его поручительством за меня. Все пошло гладко и хорошо, но надо же было регенту ротного хора, при пробе голосов, перевести меня в тенора, а в прошлом году я пел первым басом. Я не мог вынести понижения достоинства, ведь это был позор, ибо я становился моложе! Началась спевка и я не тенором, а каким-то дискантом, похожим на немазанное колесо, пел истошным голосом, не замечая, что сзади стоит дежурный офицер, опять Страхов, который спокойно говорит: «Стефановский, отправьтесь под арест». Пришел я в карцер, уныло сел и думаю: сглупил брат ты и беды наделал. Часа через два приходит Страхов и говорит: «что вас черт дергает, вели себя хорошо и опять сорвались, ступайте в класс». К Рождеству мне прибавили поведение на 8, к Пасхе на 9. Перед выпускными экзаменами я взял первый приз по гимнастике и по стрельбе, к выпуску мне поставили по поведению 10.

Вообще же Полоцкий корпус по учению в 1912 году, по среднему балу, был лучшим из всех, включая и пажей. Из моего выпуска в 41 кадет, в специальные училища вышли 22 кадета, или более половины. Я окончил корпус вторым и вышел в Константиновское Артиллерийское Училище, где раньше были мои братья. Должен упомянуть, что моя 10-ка по поведению перешла и в училище и при разборе вакансий я не мог выйти в гврадейскую конную артиллерию, так как в гвардию по поведению надо было иметь 12. Теперь же все в прошлом!

Главное же: «Да Воскреснет РОССИЯ!»

Полочанин Стефановский.

КАДЕТЫ В ЯРОСЛАВСКОМ ВОССТАНИИ.

Недавно мне попала в руки небольшая книжка Леонида Зурова, с заинтересовавшим меня названием «Кадет». Леонид Зуров один из талантливых эмигрантских прозаиков, ученик и последователь Бунина, начавший писать в Зарубежье.

Содержание повести — конец Ярославского корпуса и участие кадет в Ярославском восстании в июле 1918-го года. Тема для нашей зарубежной литературы редкая. Наши писатели, не в пример советским, почему-то редко затригавают такие темы.

Ярославское восстание было одно из самых известных и крупных восстаний того времени. Это восстание называют «Офицерским», т. к. его ядром было в главном молодое офицерство, к которому примкнули юнкера и учащаяся молодежь. В начале был успех — восставшие заняли Ярославль, в котором в то время находился штаб Северного фронта Красной армии, а также на короткое время они захватили и Рыбинск. Но потом большевики спешно перебросили сюда верные им войска (курсантов, латышей, мадьяр, китайцев) и окружили город. У них были бронепоезда, броневики, тяжелая артиллерия, у восставших же под конец не хватало даже патронов для винтовок. Безжалостно бомбардируемый красной артиллерией город горел. Нового притока добровольцев в окруженном городе не было. Большевики же бросали в бой все новые и новые силы, но несмотря на все это белые продержались шестнадцать дней.

Обещанная помощь Союзников, которые якобы высадились в Архангельске и на которую восставшие, начиная восстание, так рассчитывали, не пришла. Да она и не могла придти: восставшие были заведомо и бессовестно обмануты или были кем-то по ошибке неправильно информированы. Союзники высадились в Архангельске только через две недели после того, как восстание было подавлено.

Кадеты ярославцы одни из первых примкнули к восставшим. Их было немного, но тем не менее они оставили след в истории этого восстания.

Восстание началось на рассвете 6-го июля нападением небольшого отряда (около 100 человек) под командой полк.

Первухина, руководителя восстания, на склады вооружения на окраине города. В воспоминаниях участников восстания Б. Годлевского и Л. Бека («Новое Русское Слово», 30 сент. 1973 г.) можно прочитать: «Через несколько минут после взятия артиллерийского склада 30 кадет Ярославского корпуса выехали на авто-пулеметных машинах в город». Это говорит о том, что кадеты уже были в отряде полк. Первухина при взятии складов вооружения, т.е. были среди первых, начавших восстание.

Мне говорили, что повесть «Кадет» автобиографична и что Зуров сам был ярославский кадет. Как он пишет, уже февральскую революцию корпус встретил отпором. Во время первых первомайских торжеств кадетский оркестр отказался играть марсельезу, отговорившись тем, что они еще ее не разучили. Во время Корниловского выступления кадеты, возмущенные поведением Керенского, готовы были взяться за оружие и только ждали приказа, чтобы идти за Корниловым.

Когда после октябрьского переворота большевики потребовали от кадет сдать оружие, 1-ая рота ответила отказом. Когда в первые дни власти большевиков манифестация рабочих проходила мимо корпуса, кадеты открыли настеж окна и кадетский оркестр бесстрашно грянул старый русский гимн.

В начале ноября было получено известие, что большевики собираются послать в корпус карательный отряд. В предвидение этого директор распустил кадет по домам.

Митю (главное действующее лицо этой повестие) в поезде, когда он ехал домой, солдаты и матросы, узнав, что он кадет, начали избивать и издеваться над ним; собирались повесить на крючке.

— «Господи, неужели конец?» — подумал Митя и, собрав последние силы, рванулся, протащив державших его за руки солдат.

— «Э, что возжаться, — сказал весело матрос, — выкинем!»
— «Ну, ваше благородие, довольно землю пачкали!...»
Его вынесли на площадку. Раскачивали под команду матроса... Путь быстрой белой лентой бежал внизу. Перед лицом мелькнули поручни, зеленый угол вагона, донесся хохот, крик, выстрел, а потом его ударило боком о землю, перевернуло в воздухе и зарыло в снег. Слабо простонав, он сел. Кровь с лица падала на снег...».

Митя остался жив. Как потом говорила вынянчившая его няня: «Видно мать за тебя молилась». Он добрался домой, но долго там не задержался. В конце июня (1918 г.). Митя получил записку: «Всех, кто желает принять участие, просят явиться». Это был договоренный между кадетами сигнал, что борьба начинается. Митя не задумываясь едет в Ярославль. Там совершенно случайно попадает в небольшой отряд, которым командует его учитель математики. Этот отряд налетом занимает Рыбинск. Но командиром учитель математики оказывается неумелым и отряду грозит гибель. Положение спасает старый полковник Лебединский, который принимает на себя командование отрядом.

Потом их отряд оказывается в небольшой деревушке, на берегу речки, и получает два дня неожиданного отдыха. Сбрасывая с себя рубашки и превращаясь в жизнерадостных «белотелых мальчишек», забывших обо всех пережитых ужасах, они купаются в речке, купают отрядных лошадей, забираются на сеновал и оттуда «прыгают вниз по команде, уходя по уши в рыхлое сено». Увидевшая такое веселье хозяйка их двора приходит в ужас:

— «Ой, Боженьки, как они прыгают! Мальцы, да вы на гвозди напоритесь, да и сено стискаете. Неужто вы и взабыль солдаты?!»

Потом этих «взабыль солдат» спешно вызвали в Ярославль, там не хватало сил, начиналась развязка. Бои перекинулись в город и велись на улицах, в парках, садах. С каждым днем редели повстанческие ряды. Но отходили, не отдавая без боя ни одной пяди земли, унося на руках раненых. В последнем бою отряда, после которого отряд распался, был ранен Коля Лагин, друг Мити, тоже кадет ярославец.

Нужно сказать, что одновременно, на фоне всего происходящего, разыгрывается первая, очень трогательная любовь между Митей и гимназисткой Аней, по прозвищу «Куний мех». После того как распался отряяд, Митя ведет раненого Лагина к Ане, которая его перевязывает. Свидание получается очень коротким. А потом хватающее за душу расставание, а дальше трагический конец — через день Аня вместе со своим отцом, старым полковником, была расстреляна большевиками.

Последним оплотом белых был Спасский монастырь, когда-то в далеком прошлом перенесший татарскую осаду. В мона-

стыре засело около двухсот белых, среди них Митя и Коля Лагин.

... «Кадет поставили у выщербленных когда-то татарскими бревнами стен»...

... «Красные обстреливали монастырь из-за реки, пробовали пробиться к нему заливными лугами, но были отбиты»...

... «Монахини из Казанского монастыря приносили защитникам просфоры, перевязывали раненых. Раненых клали в церкви, а у крылечка клали убитых»...

... «По убиенным служили панихиды»...

... «А красная батарея продолжала бить по монастырю, разбрасывая по заросшим травою камням кадетскую и монашескую кровь.»...

... «Митя запомнил навсегда пламенные языки, дрожащие на черных струях реки Котросли, розовую от огня церковь с сияющим в ночи крестом, страдающие от раны глаза Лагина, тягучие волны набата и благословляющую руку седого монаха:

— «Спаси вас Бог, дети!» —

Митя был один из немногих оставшихся в живых участников Ярославского восстания. Позднее ему удаолсь пробраться в Прибалтику к ген. Юденичу, где он продолжал борьбу с большевиками.

Всем, кому попадется в руки книга «Кадет» Леонида Зурова, советую ее прочитать. Это книга об одной из героических страниц нашего кадетского прошлого.

МАРСАФЛОТЫ.

Марсафлоты — иначе моряки лихие. Не знаю когда и откуда это слово появилось, но в Бизерте оно было в ходу и обозначало именно это — моряки лихие и умелые.

Один мне близкий человек посоветовал мне написать для «Переклички»... ты, ведь, тоже кадетом был... что-нибудь о Морском Корпусе. Для меня — Морской Корпус, это Бизерта, последние годы его — корпуса — существования. Но, ведь, батюшки светы, с тех пор пятьдесят годочков-то с лишним улетело! Разве можно упомнить? Но и забыть-то... забыть, ведь, тоже нельзя...

Севастопольский Морской Корпус попал в Бизерту в самом конце 1920 года, после крымской эвакуации, долгой стоянки

в Константинополе, и бурного перехода Мраморным, Эгейским и Средиземным морями. Эскадра генерала Врангеля тоже прибыла сюда, в том числе и мой славный, весь ржавый, обшарпанный «Капитан Сакен», лучше которого никогда не было и не будет!.. Пока пишу, поглядываю на картину масляными красками, на котрой я его изобразил. Эскадренный миноносец «Капитан Сакен»! Забыть-то разве можно?

Трудно сказать сейчас почему он мне был так дорог и остался таким и до сих пор. Мне было 15 лет. Романтика молодости? Может быть. Или типичная привязанность моряков к своему кораблю? Может быть, но, ведь, моряк-то я был уж очень желторотый... Последний кусочек родной земли, который я, быть может, принес на своих подметках на его палубу, та мистическая связь с Россией, которая вместе с Андреевским флагом ушла на чужбину в неизвестность? Все это наверное так, все это возможно. Но... словом, я не знаю... Я не знаю, я только помню...

Я помню, как во время стоянки в Константинополе, два дня подряд я спрашивал позволения взять «тузик» (маленькая лодка на одного гребца)* и отправлялся по Босфору искать брата, который был в Марковском полку и мог быть на одном из наших многочисленных транспортов разбросанно стоявших на якорях на рейде. Выгребать против босфорского течения трудно, до чрезвычайности трудно. Я греб, как и взрослому матросу впору, но когда подойдешь наконец к борту транспорта и с грехом пополам уцепишься за него, то знаешь, что выбился из сил.

Высоко надо мной сотни голов смотрят на меня через борт. Кричу — есть ли такой-то на борту? Отвечают, что сейчас пораспросят. Жду. Жду долго под высоким давно некрашенным бортом. Вода из отверстий в борту льется почти беспрерывным мутно-вонючим потоком. Иногда ветром брызгает и на меня. Отряхиваюсь и жду. Головы смотрят на меня сверху. Может быть жалеют? Не знаю. Жду.

— Эй, мальчик! — кричат сверху.

— Есть! — отвечаю я, как и полагается настоящему матросу.

— Такого здесь нет... поезжай туда — показывают на другой транспорт — там тоже марковцы есть... Может среди

*) Объяспепие морских терминов смотри в конце статьи.

раненых найдешь... это вот там!..

— Есть! — отвечаю я как настоящий матрос, только голос у матроса стал вдруг писклявым.

Опять гребу, долго и упорно. Думал — вот, вот увижу, а оказывается «такого здесь нет...» Нет и отца — он в то время был пропавшим без вести, нет матери — знаю только, что она в одесской чрезвычайке. Ничего нет. Есть только... ничего нет «моего»... есть только «Сакен» и всем сердцем я цепляюсь за него, он «мой»...

Брата я не нашел. Но еще много лет спустя все думал, что он найдется... *).

Когда мы пришли в Бизерту, пошли слухи, что мы, то-есть миноносцы, тут долго не останемся и что мы скоро пойдем на Мадагаскар нести стационарно-патрульную службу, чтобы платить французам за содержание остальной эскадры и Морского Корпуса. Слухи эти, в конце концов, оказались лишь слухами. Но тем не менее командир наш, капитан 2-го ранга О. вызвал меня к себе в каюту.

— Тебя я отправлю в корпус... Тебе учиться надо... На Мадагаскаре делать тебе нечего!

Я запротестовал решительно и упрямо, как протестуют в 15 лет, и когда тебя хотят лишить чего-то «своего»... Командир молчал, смотрел на меня, но не настаивал. Меня — охотника флота, сигнальщика, хотят отправить...

— Ну, иди...

Я ушел, еще надеясь. Через несколько дней — я был на вахте — меня снова вызвали к командиру.

— Прочитай и подпиши!..

Я знаю он это сделал для меня, для моей пользы и, думаю, скрепя сердце.

Это был приказ командующего эскадрой о переводе меня с эскадренного миноносца «Капитан Сакен» в распоряжение корпуса. Я знаю, это было для меня... но какая-то ниточка во мне оборвалась. Вот, быть может, именно поэтому мне так дорога эта ниточка, «мой»... «Капитан Сакен».

Бизерта находится в Тунисе, тогда протекторат Франции, на северной оконечности Африки. Город сам маленький, но

---

*) Потом нашлись свидетели. Они рассказывали, что когда Марковцы уходили по крымским степям от налетевших буденовцев, они видели, как тачанку, на которой был брат со своим пулеметом, накрыло гранатой. Он упал. Был ли ранен, убит, взят в плен? Кто разберет в бою. Брату было 19 лет.

порт порядочный, большое соленое озеро, соединенное каналом с морем.

В начале 1921 года Морской Корпус перевели с кораблей на сушу, километров, думаю, около семи-восьми вглубь, и предоставили старый форт с поэтическим названием «Джебель Кебир», а рядом, километр быть может, под горой, на которой был форт, лагерь «Сфаят», с деревянными бараками для семейных офицеров и преподавателей.

В первое время церковь наша еще была не оборудована. Служили прямо на площадке перед входом в форт под открытым небом. Эту первую обедню тоже, ведь, забыть нельзя. Батальон Морского Корпуса стоит «покоем», в середине наш адмирал — директор корпуса вице-адмирал А. М. Герасимов, офицеры, преподавтели, семьи. Служил отец Георгий Спасский и как всегда как-то особенно. А когда обедня кончилась, он обратился к нам:

— Мы потеряли все, что нам было дорого... Многие из вас потеряли родных, близких... Мы потеряли родину, храмы Божии... Болит ваше сердце... Но, что может быть лучше, что может заменить этот дивный храм над нами?.. Он и там и здесь один... — и широким жестом, рукой, в которой он держал крест, показал на лазурный купол над нами.

Он продолжал проповедь. Кое-кто плакал...

Лазурный купол над нами. И роскошный вид на город, на канал, на море, слева, на озеро справа. В канале ближе к озеру стоят наши корабли. «Генерал Алексеев» — линейный корабль, огромный, серый, с двенадцатью двенадцати-дюймовыми орудиями. Крейсера «Генерал Корнилов» и «Алмаз». Учебный парусный корабль Морского Корпуса «Моряк». В бухте Каруба, что около самого входа в озеро, и рядом с ней — наши подводные лодки и миноносцы и среди них и «Сакен», и «Цериго» — последнее достижение техники по тем временам, правда не совсем достроенный и законченный, и красавец «Дерзкий» — флагманский эсминец. Тут же и полу-дивизион «Ж-3» — «Жаркий», «Живой», «Звонкий» и «Зоркий» — совсем маленькие и старенькие миноносцы. Среди подводных лодок знаменитый «Тюлень», на котором М. А. Китицын в надводном бою взял в плен вспомогательный турецкий крейсер, несмотря на то, что этот последний превосходил во много раз «Тюленя» по силе огня. Китицын сам с нами в корпусе — начальником строевой части. А у самого

города «Георгий Победоносец», старый броненосец, потерявший одну трубу во время шторма в Эгейском море, и предоставленный для семей эскадры. И реют Андреевские флаги. И почему-то и больно, и хорошо.

Скоро и песенка сложилась:

«Един флот Российский, над морями властвует, над Бизертой царствует, над Карубой может» — это припев.

Одни спрашивают: «Извествуй, что есть два?»

Другие отвечают: «Два Ивана на Цериго, един флот Российский, над морями властвует...» и так далее припев. Два боцмана на «Цериго» были Иванами.

Опять спрашивают: «Извествуй, что есть три?»

И отвечают: «Три в Бизерте адмирала, два Ивана на Цериго, един флот Российский...»

Я всего не помню, только до «пяти». На вопрос:

«Извествуй, что есть пять?»

Отвечали: «Пять нефтяных миноносцев, четыре подводных лодки, три в Бизерте адмирала, два Ивана на Цериго, един есть флот Российский, над морями властвует, над Бизертой царствует, над Карубой может...»

Глупая песенка? Наверное, а только может быть и не совсем уж глупая.

Меня просили три-четыре страницы, а я вот уже сколько отстукал на машинке, а толком еще ничего не сказал. Слишком много этих самых воспоминаний, вдруг, навалилось, обо всем хотелось бы рассказть, но надо сжиматься, надо...

— Воспоминаниев, этих самых, вроде выходит, как чересчур... — сказал бы у Станюковича пожилой матрос Михайло Бастрюков с серьгой в ухе.

Так вот, чтобы было совсем, как у Станюковича, скажу, что наш «Моряк» был баркантиной, с тремя высоченными мачтами, четырнадцатью парусами и бесконечной путаницей снастей, и со слабосильной вспомогательной паровой машиной — презренная дань современности. И еще «под Станюковича» скажу, что, как только подымешься по трапу на палубу, как сейчас же перенесешься из мира современности в мир иной, как будто и отживший и ненужный, и в то же время живой и как море само вечный, в мир нереальной реальности...

Мы — младшая рота Морского Корпуса (к сведению сухопутных товарищей: в Морском Корпусе ротой называли класс) — пошли в этот раз в плавание рано. Плавание на

якоре и в озере, — только в озере, увы, — но и это уже хорошо. Нас немного и потому пришлось стараться и бегать изо всех сил, чтобы не уронить чести «Моряка». Никогда в жизни, думаю, я так не гордился, как тогда, ибо был назначен старшим боцманом. Родных у меня в Бизерте не было, поэтому я редко съезжал на берег, и в свободное от учений время не один час проводил с мичманом М. где-нибудь высоко на брам-рее, высвобождая какой-нибудь зажатый конец (моряки презирают слово — веревка!)

Был поздний май или ранний июнь. В этот день мы уходили в «поход». Все утро и пополудни готовились, возились, проверяли, поднимали шлюпки — два тяжелых гребных катера, которых место было на спардеке, особенно трудно давались нашим еще не совсем взрослым мускулам, — кое-где докрашивали, кое-где сплеснивали обветшалые снасти. Паров не поднимали, ибо машина была в ремонте. Значит — пойдем только под парусами. Мы этим и гордились, и несколько побаивались, потому что... впрочем, об этом потом.

Когда стало вечереть, раздалось наконец:

— Все наверх с якоря сниматься!

Я бегу к люку в жилую палубу и вместе с двумя другими боцманами «совсем как у Станюковича» свищу в дудку и кричу сколько хватает сил:

— Пошел все наверх с якоря сниматься!.. — а в ушах так и мнится завывание океана...

С якоря, то с якоря сниматься, да опять же не совсем с якоря... По существу мы стояли на «бочке», которых много было посередине канала. На бочку с носа «Моряка» была заведена «серьга», то-есть, петля и, чтобы «сняться» надо было только «отдать», то-есть, отвязать, серьгу и «Моряк» был на свободе, и якоря выхаживать не надо было, что без паров было делом трудным и долгим. С бочки снялись быстро, паруса поставили благополучно, легли на правый галс, то-есть так, чтобы ветер дул в правый бок, и «Моряк», «элегантно накренившись», направился носом в озеро.

Тут надо кое-что пояснить. Во-первых, в канале действуют две силы: одна это ветер, а вторая это приливное-отливное течение, менявшее каждые шесть часов свое направление. Комбинация этих двух сил иногда усложняла до крайности маневрирование парусным судам. А во-вторых, это изгородь, переграждавшая выход из канала в озеро с обоих берегов,

оставляя лишь не слишком широкий проход посередине для следования кораблей из канала в озеро и обратно. Изгородь ограждала отмели.

—Старайтесь, кадеты! Командующий эскадрой смотрит... — кричат с мостика.

Мы проходим мимо бухты Карубы. На палубе «Дерзкого» группа офицеров в белом смотрит на нас в бинокли, среди них фигура контр-адмирала Беренса, любимца всей нашей эскадры, тоже с биноклем. Паруса стоят «форменно», за бортом никаких «соплей» не висит, пожалуй не осрамимся.

Я стою на полубаке (передняя возвышенная часть судна) рядом с мичманом М. Он смотрит на пароход в изгороди и я смотрю туда же. На душе становится тревожно. Он поворачивается ко мне:

— Не пройдем...

Мне это тоже ясно и я киваю головой. Не пройдем. Если бы был только ветер, то прошли бы, но с этим течением... Надо сделать поворот на другой галс, выбраться побольше на ветер, сделать опять поворот на старый галс, и тогда мы свободно попадем в проход и минуем изгород. Зачем же тревожиться? А затем, что «Моряк» очень плох на поворотах. Когда машина действует, то в решительную минуту командир брался за ручку машинного телеграфа, винт начинал бурлить под кормой, и «Моряк» делал поворот. Без машины, только под парусами, повороты удавались редко. Как будет теперь? Ведь мы гордо идем только под парусами. И если поворот не выйдет, то тогда что? Паров нет, бурлить нечем. Что тогда? Становиться на якорь? На глазах у командующего? Разве он этого ожидает от марсофлотов? Вот почему тревога.

Изгородь все ближе. Мичман М. смотрит в сторону мостика с немым вопросом... Но там тоже знают.

— По местам стоять к повороту! Поворот овер-штаг! Булиня отдай!

Мы бросились по местам. Работали на славу, четко и быстро. И команды с мостика сыпятся тоже быстро и четко.

— На кливер и стаксель ниралы! Кливера и стакселя долой! На фока гитовы и гордени! Фок на гитовы! — и так далее, совсем как у Станюковича.

Через несколько минут мичман М. и я снова на полубаке. Тишина. Задравши головы кверху мы смотрим на колдунчик

(род флюгера на верхушке мачты). Солнце уже почти на горизонте и потому колдунчик выглядит красноватым. По мере того, как «Моряк», послушный парусам и рулю, медленно катится к ветру, колдунчик столь же медленно, но пока что верно, подвигается к середине. Неужели?.. Неужели же удастся?.. Сердце замирает, Колдунчик торжественно переходит на другую сторону. Даже не верится! Впрочем, это еще ничего не значит, еще может всякое случиться. Но вот... ура, ура!.. серая парусина марселя (парус) начинает дрожать, а затем начинает хлопать в красивых извивах... Ура, ура!.. марсель полощет, это уже наверное, и скоро раздастся счастливое «На брасы на правую! Пошел брасы!» и поворот удался.

Поворот удался блестяще. Мы ликовали. Но...

Но, кроме того, что «Моряк» был, так сказать, тяжел на подъем, он на поворотах такого рода еще и давал сильный задний ход. Тут мы уж ничего не можем поделать, никакая четкость или быстрота не поможет, изгородь близко, нас несет на нее кормой... Успеет ли «Моряк» дать передний ход? Может быть бы и успел, если бы не течение...

— Из левой бухты вон! Отдать левый якорь!

Одновременно мы с мичманом М. бросились к «боцманскому пальцу» (механизм, который сбрасывает якорь), якорь плюхнулся в воду, якорная цепь было загремела, как обычно, но тут же остановилась. Поздно. Мы сидим левым боком у кормы на мели около самой изгороди. Солнце скрывается за горизонтом.

Говорят — нам потом рассказывали, что адмирал, видя это, весело махнул рукой и сказал:

— Ну, теперь им хватит на всю ночь!

Подумал и добавил:

— А, впрочем, это хорошо... Ведь, ни у кого из нас, господа, не было столько практики сниматься с мели, как у этих маленьких кадет!.. — и бодро направился вниз ужинать.

У нас «морская практика» была в полном ходу. Чего только не делали, чего только не пробовали! И бегали толпой с борта на борт, чтобы раскачать «Моряка», и завозили на шлюпке маленький якорь «верп», пробуя стянуть его с мели этим способом, и пытались буксировать шлюпками, и все остальное по предписаниям. Ничего не помогало. «Моряк» как бы задумлася и говорил нам: «А мне и так хорошо...» За отсутствием паров, наша турбодинама не действовала, а ке-

росиновые фонари мало помогали. Хорошо было только то, что не было повреждений или течи.

И, наконец, все решилось «чисто русским способом». Не так далеко, саженях, быть может, в трехстах, в середине канала была одна из бочек. На черной воде она темнела еще более темным пятном, как бы приглашая. Кто-то догадался: «А почему не завезти перлиня на бочку и так стянуться?» Действительно, почему и нет? Но уже не так это и просто. Во-первых, надо поднять якорь обратно, он, ведь, теперь только мешает. На это ушло с час, может больше, все, ведь, в ручную. Во-вторых, перлиня это самые толстые концы (ну, ладно — веревки!) и невероятно тяжелые и отвезти их на бочку не так легко — когда их связали в одну длинную колбасу, то шлюпка наша почти что ни с места, три шага вперед и два назад! Но довезли! Когда все, наконец, было готово и все кто был, и кадеты и офицеры, взялись дружно за перлинь и, как дедка за репку, бабка за дедку, стали тащить, тащить, тащить... «Моряк» перестал вдруг упрямиться, двинулся и пошел... На этот раз, впрочем, может быть и течение помогло, переменив направление. К двум часам были на бочке. А утром рано снялись и пошли в озеро, но уже без «адмиральского смотра».

Так и в жизни, друзья. Когда сядете на мель и никакая «практика» не помогает, — беритесь за перлиня.

Марсафлоты — моряки лихие.

Д. Шульгин.

Примечание номер один: Этот рассказ не претендует быть "историей" или "хронологией". Это. по давности лет, скорее "настроение", чем что-либо иное. *Примечание номер два:* Морские рассказы обычно сопровождают некоторыми пояснениями в области морской терминологии. Морское дело, да еще парусное, настолько отлично от всего сухопутного и настолько сложно, что я очень боюсь, что никакие краткие объяснения не помогут. Я думаю, что к "терминологии" скорее надо относиться как к известного рода фольклору. Однако, следуя традиции, попытаюсь сделать, что сумею.

Поворот "овер-штаг". Парусное судно не может идти прямо против ветра. Оно ходит градусов пятьдесят-шестьдесят от направления ветра. Чтобы переменить курс и идти по другую сторону от ветра (лечь на другой галс) надо сделать поворот — достаточно сложный маневр. Обычно стараются сделать поворот так, чтобы перейти носом корабля направление откуда дует ветер, а не кормой. Это и есть поворот овер-штаг. Чтобы его сделать под одними парусами, надо убрать как можно больше парусов на носу и иметь как можно больше на корме. В передней части остается лишь "марсель" — парус, который помогает повороту, после того как корабль перешел линию ветра. Не все корабли одинаково делают этот поворот. "Моряк" повороты делал плохо.

"Машинный телеграф" — приспособление, чтобы давать указания с мостика в машинное отделение.

”Булинь“ — снасть, которая тянет край больших прямоугольных парусов вперед с той стороны откуда дует ветер. Булиня надо ”отдать“ то есть отвязать, чтобы убрать передние паруса.

”Кливера и стакселя“ — треугольные паруса спереди.

”Ниралы“ — снасти, которыми эти паруса убираются.

”Фок“ — самый большой прямоугольный парус на передней мачте ”Моряка“.

”Гитовы и гордени“ — снасти которые убирают фок; ”на гитовы“ тоже самое, что убрать.

”Из левой (или правой) бухты вон!“ — предварительная команда, чтобы бросить (отдать) якорь, ничего общего неимеющая с географическим понятием ”бухта“.

”Колдунчик“ — матерчатый конус на верхушке мачты, вроде тех, что можно видеть на аэродромах; он показывает положение корабля относительно ветра.

”Марсель“ — второй снизу парус на передней мачте, играющий важнейшую роль при поворотах овер-штаг. На ”Моряке“ марсель был только на передней мачте, состоя из двух частей — верхнего и нижнего. На других типах кораблей марселя бывают на всех мачтах.

”Брасы“ — снасти поворачивающие реи с одного бока на другой.

”Перлинь“ — одна из самых толстых веревок на корабле.

”Спардек“ — надстройка над верхней палубой корабля.

”Гребной катер“ — большая шлюпка на 10-12 весел.

”Сплеснивать“ — соединять веревки, пропуская пряди одной в пряди другой. Таким же образом починяют веревки, если они порвались.

Между прочим, моряки не говорят ”якорная цепь“, а ”якорный канат“ в силу исторических причин.

КОНЕЦ БОНАПАРТА.

В далеком Стамбуле, на мокрой панели,
Под брызгами зимнего злого дождя,
Два ангела светлых внезапно узрели
Забытое всеми, больное дитя.

В солдатской шинели, усталый, промерзший,
По улицам темным бродил мальчуган,
А в детской душе становилось все горше
И ныло в костях и так мучил туман.

И вот изнемог и на тумбе холодной
Присел и задумался мальчик. О чем?
И ангел сказал: «Вероятно, голодный!»
Другой пожалел: «Никого-то кругом!»

И первый нагнулся: «Не плачет, он смелый,
Он сильный и гордый в одиннадцать лет.
А знаешь ли, брат, в чем наверное дело —
То беженец русский, то русский кадет.

С толпою таких же как он ребятишек
Сюда из несчастной страны он попал.
Их много Ванюшек, Сережек и Мишек,
Теперь заблудился, быть может отстал.

И ангел, из лужи поднявши фуражку,
Погладил упрямый кадетский вихор.
«О, да, ему больно, о да, ему тяжко,
Но ты посмотри, как далек его взор.

О нет, мы мешать мальчугану не станем,
Он видит Россию, он видит свой дом,
И прежняя жизнь, словно тень на экране,
Проходит пленительным сном.

Всех видит он: маму, сестер и братишек,
Отца-генерала, своих голубей,
И домик в саду и собачку — «Амишку»,
Малину густую, соседских детей.

А вот уж и корпус, погоны, петлицы,
Надменное: «Ну это что, вот у нас!»
Товарищей резвых задорные лица,
Каникулы, Пасха и детский экстаз.

А дальше другое, о подвигах бранных,
О воинской славе загрезил кадет.
В сюртук Бонапарта так странно, так сладко
Его одевал упоительный бред.

Мечтал он о дальней турецкой столице,
Куда поведет он стальные полки,
И белая лошадь по дним горячится
И всюду штыки, и штыки, и штыки...

И вот он в Стамбуле, но где ж ординарцы,
Но где ж батальоны, но где ж трубачи,
Никто не несет драгоценного ларца,
Где Порты Высокой хранятся ключи.

Дрожит его тело смертельным ознобом,
Он тяжко вздохнул, отлетела душа...
На дальней чужбине, за беженским гробом,
Никто не пойдет провожать малыша.

И мамины милые руки, нежные руки
Ему не разгладят волос.
Конец Бонапарту, конец его муке,
Спаси его Боже, помилуй Христос.

Генерал-Лейтенант Римский-Корсаков.
Директор 2-го Московского кадетского корпуса.
Директор Крымского кадетского корпуса в Югославии.
Основатель русского кадетского корпуса имени Императора Николая Второго под Парижем в 1930 г.
Скончался в 1933 году.

Календарь: Издание Зарубежного союза инвалидов. Франция.

О ПРИЧЕСКАХ.

Помню старый альбом фамильных фотографий прошлого века у нас в гостиной.

Пожелтевшие от времени снимки групп и отдельных военных в мундирах или сюртуках с соответственной эпохе Императора Александра 3-го растительностью в виде бород, бакенбардов и усов на лице у офицеров и аккуратными ежиками у юнкеров и кадет. Ежики сохранились и к нашему поступлению еще в императорский корпус, но тут головная растительность, в строевых ротах уже имела тенденцию к проборам, а ежики опустились и до третьих рот.

Конечно, длина кадетских волос зависела от точки зрения соответственного директора корпуса, но уже только завзятые «аракчеевцы» настаивали на стрижке под «0» кадет строевых рот.

Стриженными или длинноволосыми прошли кадеты добровольческую страду и небольшая группа выживших оказалась в первой роте Крымского Кадетского Корпуса в Массандре.

Не говоря о седьмом классе, куда вернулись даже несколько юнкеров и вероятно были и произведенные в первый офицерский чин бывшие добровольцы, а у нас в шестом классе были десятки кадет с георгиевскими отличиями и разного ранга унтерофицерскими званиями. Были представлены все роды оружия включая доблестный флот.

Все эти юноши прошли суровую школу строевой и фронтовой жизни, научившую их и лихо носить форму своей ча-

сти и держать себя в порядке и в меру сил элегантно. К этой области относится и естественное желание, особенно глубокое в юношеском возрасте, приукрасить свою наружность, хотя бы в какой-то мере прической, каковые, в то время были более чем скромные и, конечно, создавались в виде проборов в совсем коротких волосах.

Ни наш директор генерал Римский-Корсаков — «Дед», ни командир роты, бывший сменный офицер артиллерийского училища полковник Руссиян против наших причесок не возражали, а наши воспитатели нашим стремлениям к личной красоте не препятствовали до печального случая о котором я и хочу рассказать.

Не буду входить в причины нездорового явления в виде смены у нас полтавцев 6-го класса 2-го отделения за год двух воспитателей — перевода нами обожаемого полковника Гончаренко в четвертую роту и назначения к нам полковника Фон-Кнорринга на что мы реагировали в меру наших возможностей. Даже сейчас, спустя 50 лет, я вполне понимаю наши возмущения, хотя и не могу оправдать нашу проделку с уставной точки зрения. Протест был нами выражен тем, что когда полковник Фон Кнорринг, кстати тоже наш полтавский воспитатель «Дядя Вова» или «Красивый полковник», подошел к построившемуся отделению для его официального принятия и поздоровался, из строя ему бодро ответили два голоса. «Дядя Вова» был смущен, вероятно, возмущен, но наивно не нашел ничего лучшего, как приказать выйти из строя двух ответивших. Два отчетливых и высокодисциплинированных кадета были я и Коля Макотов. «Дядя Вова» поблагодарил нас за порядок и сказал, что всем остальным будут сбавлены баллы за поведение. Именно на это мы и рассчитывали постановив, что отвечать будут я и Коля, которым уже не с чего было сбавлять потому что и он и я имели уже по колу за поведение.

Продолжая свою неровную политику в отношении воспитателей, уже во время нашего пребывания в 7-ом классе, «Дед» сменил у нас и полковника Фон Кнорринга и заменил его по каким-то причинам оказавшимся в Крымском Корпусе, переведенным из Русского Корпуса в Сараево, бывшим командиром роты Одесского В.К.К.К. Корпуса полковником Самоцветом.

От наших одесситов мы узнали о Самоцвете много поло-

жительного, как о строгом, но справедливом, видном уральском казаке. Действительно, впечатление на нас «Мотя» произвел выгодное — рослый, крупный, с седым чубом из под одетой по казачьи на бок фуражки, с громким хрипловатым голосом и при шашке, при приеме отделения — лучших декоративных качеств для нас трудно было представить.

Видимо, «Мотя» получил от «Деда» задание прикрутить нас, но надеясь на опыт старого воспитателя «Дед» не указал дипломатических путей.

Начал «Мотя» нас воспитывать нелепо, приходя к утренней трубе в ротный барак и с первыми звуками срывая с нас одеяла. С просонья, а также и симулируя, наши орлы посылали стаскивающего одеяла довольно далеко, это вызывало громовые раскаты и взыскание.

Подготовив таким образом и схожими нелепостями, не поднял дисциплины, а общую антипатию, «Мотя» решил нанести нам самый чувствительный удар.

Все мы, за редким исключением, следили за нашими прическами и украшались аккуратными проборами. С уверенностью могу сказать, что самый блестящий пробор имел всегда во всем аккуратный Борис Финне. Нужно же было «Моте» начать свою атаку именно с него, приказав ему подстричься под первый номер.

Никакие доводы Финне ни просьбы и увещания собравшегося отделения не влияли на разгорячившегося «Мотю», заодно приказавшего всем подстричься и дошедшего до угрозы и может быть этим подсказавшего молодым горячим головам рискованный шаг, что не исполнивших приказания он представит к исключению из корпуса. Отделение было дружное, и на завтра 32 докладных записки с просьбой о выходе из корпуса и переводе в технический батальон, работавший под Белградом, были представлены директору корпуса.

К сожалению, «Дед» не нашел более дипломатического выхода из всей нелепой истории, и разнеся перед построенной ротой наше отделение, исключив из корпуса, отправил, под командою того же полковника Самоцвета — вторая ошибка — к военному агенту в Белград.

История имела печальное последствие для полковника Самоцвета, удар по самолюбию «Деда» и радостный для нашего отделения конец.

Привезшего и поместившего у военного агента кадет, пол-

ковника Самоцвета приветствовали его бывшие воспитанники — одесситы, студенты белградского университета. По возвращении с обеда во дворе к военному агенту, «Мотя» получил распоряжение построить кадет и представить их приехавшему случайно из Сремских Карловцев, генералу Врангелю.

Узнав причины пребывания кадет в Белграде, генерал Врангель приказал вернуть кадет в корпус, сделав им строгий выговор в манкировании своим образованием для будущего России. Полковник Самоцвет покинул Корпус, а седьмой класс, второе отделение, благополучно закончил учение еще больше обожая память Верховного Главнокомандующего.

А. Бертельс Меньшой.

«НОЧНОЙ ПАРАД» 3-го ВЫПУСКА СУВОРОВСКОГО К. К.

Еще задолго до окончания уроков, в 7-м классе начались приготовления к «ночному параду». Специальный комитет намечал программу и разрабатывал подробности. В один прекрасный день, в 7-м классе было получено распоряжение: «генералы», «полковники» и «майоры» должны приготовить к параду алые лацканы. Выкройка получена в одном из гвардейских полков, картон и бумага приобретены, и классы, в послеобеденное время, превратились в швейные мастерские. Легко было выкроить лацкан и обклеить его бумагой; а вот с пуговицами дело обстояло хуже. Откуда достать такое количество пуговиц? Вырезать из золотой бумаги кружки и налепить на лацканы — некрасиво, да и орлов в сиянии не нарисуешь. Мне пришла в голову «блестящая мысль»: собрать необходимое число пуговиц, постепенно, отрывая их от бушлата. Конечно, я никому об этом не сказал, опасаясь, что все немедленно воспользуются ею, а это обратит внимание «зверей». Но каково было мое разочарование, когда вечером, для отправки в швальню, было свалено штук двадцать бушлатов с оторванными пуговицами. Моя «блестящая идея» пришла в голову очень многим и каждый, не говоря никому, оторвал у себя 1-2 пуговицы. Чтобы как-нибудь замаскиро-

вать действительную причину потери пуговиц, приходилось прибегать к разным развлечениям. Самым подходящим была — «мала куча», устраиваемая на плацу. В этой каше, естественно, не только отрывались пуговицы, но и распарывались по швам бушлаты. Кроме того использовались и младшие 4-ой роты, делившие с 1-ой большой плац. Таким образом, вопрос пуговиц был разрешен благополучно. Недели через три был объявлен «приказ» о форме одежды. Бушлаты, заправленные в кальсоны, одетые на выпуск поверх сапог; «генералы», «полковники» и «майоры» в лацканах. Кальсоны (исподния брюки) были у нас трикотажные, со штрипками, и натянутые поверх сапог могли сойти за «шикарные», белые брюки. На головах бескозырки (козырьки подогнуты, а то и оторваны). В общем получалось нечто похожее на форму времен Севастополя.

Воспитатели не могли не заметить приготовлений, тем более, что, по примеру прошлых лет, могли, приблизительно, определить время парада. Правда, директор Ген. С. Н. Лавров, весьма терпеливо относившийся ко всякого рода традициям, т. к. сам когда-то окончил Гвардейскую Школу, смотрел сквозь пальцы на парад и, по примеру директора, также поступали «звери». Но нам приятнее было предполагать, что они ничего не замечают. Время шло в томительном ожидании. Приближались выпускные экзамены. В 6-м классе экзамены подходили к концу. Стало уже известно кто будет вице-фельдфебелем 4-го выпуска. А парада все нет. Начали поговаривать, что он не состоится. Напряженность ожидания упала, точно забывать стали. Но как-то вечером, когда ложились спать, была передана весть: «сегодня ночью будет парад; утихайте скорее». Но как тут скоро затихнуть. Волнение, хотя и сдерживаемое, охватило всех. Разговоры в пол-голоса и шепот долго не прекращались; но, наконец, все стихло. Дежурный воспитатель еще раз обошел спальню и, уйдя в дежурную комнату, потушил свет. Прошло еще томительных пол-часа, когда из его комнаты послышалось легкое посапывание. Заснул. Несколько человек из 1-го отделения 7-го класса, как наиболее близко расположенного к выходу из спальни и окну из дежурной комнаты, поднялись словно тени. Один отправлялся добывать ключ, а остальные — завешивать окно, выходившее в спальню. Все сошло благополучно. Замок, в двери дежурной комнаты, щелкнул, окно завешено,

«зверь заперт в клетке. Все начали быстро одеваться и выходить в ротный зал, откуда 6-й класс, в строю, должен был подняться в Белый зал, где ожидать прибытия «юнкеров». У дверей дежурной комнаты временно был оставлен часовой. Дежурным воспитателем был подполковник Л. Г. Карпов. Над верхней, за стеклянной частью двери, медленно и торжественно проплыл, прекрасно сделанный из картона и художественно раскрашенный, карп, подвешенный к палке и врученный часовому. Проснувшись, вероятно, от случайно произведенного шума, или разговоров, и убедившись, что заперт, Леонид Георгиевич попробовал было позвать дежурного дядьку, обычно спавшего около цейхгауза, находившегося по другую сторону спальни, но — и дядька был заперт в своем помещении. Между тем 6-й класс поднялся в Белый зал и выстроился вдоль левой стены. В дальнем правом углу расположился оркестр, почти полного состава. Раздалась команда — «смирно». В дверях появилась группа «юнкеров». Оркестр грянул встречу — «Гром победы раздавайся» и «юнкера», пытаясь сохранить важный вид, вошли в зал и, пройдя по фронту, расположились у бюста Суворова. «Стоять вольно». Все ожидали чего-то. Прошла какая-то заминка. Через несколько минут опять раздалась команда — «смирно» и вторично оркестр заиграл встречу. В зал вошел вице-фельдфебель 3-го выпуска Добровольский, находившийся в лазарете, поэтому запоздавший и, увы, в лазаретном халате.

Выйдя перед серединой фронта, он вызвал будущего вице-фельдфебеля 4-го выпуска Николая Семенова и, сказав короткую речь о поддержке традиций, о пополнении и хранении «Звериады», передал оригинал «Звериады» — альбом в четверть листа, в прекрасном кожанном переплете, с тисненой золотом надписью: «Звериада Суворовского Кадетского Корпуса». Сделав необходимые перестроения, 6-й класс, в колонне по отделениям, имея в голове «генералов», «полковников» и «майоров», под звуки «Старого Егерского», прошел церемониальным маршем мимо Царского портрета и бюста нашего Шефа, у которого расположились «юнкера». Здесь были Павлоны и Александровцы, Алексеевцы и Киевляне, артиллеристы Михайловцы и Консатнтиновцы, инженеры Николаевцы, но главную массу составляли конники Гвардейской Школы, Южной Легко-Конной и Тверцы. «Юнкера» отличались друг от друга только погонами, а остальная форма-ка-

детские гимнастерки и брюки в сапоги, рыжие голенища которых были заранее почернены и начищены — была одинакова. Впрочем, один (кажется Дорошевский) нарядился в офицерскую форму своего отца. Церемониальным маршем «ночной парад» был закончен. Все быстро вернулись в спальню и разделись. Электричество всюду было потушено и ключ всатвлен в дверь дежурной комнаты. Все были в кроватях. Выпущенный на свободу дядька освободил и воспитателя. Когда наш Л. Г. Карпов появился в спальне, все полтораста глоток и носов храпели и сопели в «глубоком сне». На следующий день никаких неприятностей не было. Казалось, что «ночной парда» войдет в традиции корпуса, признанные начальством, но — вместо С. Н. Лаврова появился А. Н. Ваулин и уже 4-му выпуску парад был запрещен под угрозой самого строгого наказания.

Июль 1955 г.
Махопак.

Н. Н. Страшкевич (4-го выпуска).

ОПИСАНИЕ НОЧНОГО ПАРАДА

19-го выпуска 1923 г. в г. Шанхае (Китай).

1. Форма одежды: младшие Козероги (кадеты будущего 20-го выпуска) в подштаниках с привязанными хвостами, сделанными из полотенец, которые в дальнейшем будут обрезаться и тогда они станут настоящими выпускными кадетами.

2. Генерал выпуска, во время Царствования Государя Императора Николая Второго одевал форму Шефа Корпуса Графа Муравьева-Амурского, которая хранилась в витрине музея корпуса.

3. 19- выпуск, будущие юнкера, одеты в формы по роду оружия, — в которые они предполагают вступить: пехота, кавалерия, артиллерия, флот, авиация и другие роды оружия, и наконец «шпаки», т. е. врачи, химики, профессора и прочая шваль.

4. Начало ночного спектакля-парада: перед закрытой дежурной комнатой, (над дверью открыто слуховое окно), где сидит запертый дежурный офицер, а также туда пришли по-

интересоваться разные «звери»: два кадета одетые в «ризы» из географических карт начинают чтение Звериады и разбирание «зверей» по заслугам и все это занимает около часу времени.

5. Перестроение и начало парада: шествие начинают Козероги, затем следуют по родам оружия по порядку будущие юнкера, которые во время прохождения с шумом изображали свой род оружия. Проходят церемониальным маршем перед «Генералом выпуска» — (Кириллом Калюжным), отдавая честь салютом по родам оружия.

6. Церемония отрезания хвостов у Козерогов производится большими портняжными ножницами. При этом их поздравляют со вступлением в кадеты выпуска, при сем каждому кадету 19-го и 20-го выпусков полагалось по пол чайной кружке водки с произношением тостов: в Шанхае за рубежом от Родины, пили за страждущую Россию, за русский народ, за Веру православную и за наших попечителей и было произнесено кадетом-поэтом Николаем Шутовым два куплета из Звериады 19-го выпуска:

«не юнекра мы молодые и не кадеты-старики,
Зато страдающей России — мы в бурном море маяки...».

Во время Царствования Государя Императора Николая Второго первый тост был: «За Государя Императора Николая Второго и за Царствующий Дом».

7. Во время парада происходит перекличка по родам оружия, выпускных кадет из козерогов. Новый выпуск поздравляют и делают наставления на кадетскую спайку, честность, патриотизм и о любви к своему Корпусу.

8. Около 3-х часов ночи вся процедура заканчивается укладыванием спать в ожидании на другой день, при утреннем построении, большой головомойки.

Описал кадет 19-го выпуска:
Александр Тучков.

ДУМЫ

Под старость, когда к будущему постепенно теряется всякий интерес, все чаще и чаще мысли улетают в прошлое, даже полное горестных переживаний разных тревог и невзгод, но тесно связанное в памяти со светлыми моментами давно прошедших дней и, к сожалению, ушедших безвозвратно.

Эти воспоминания бодряще действуют на человека. Возможно, что поэтому старые кадеты мысли свои направляют в самые лучшие дни их жизни, проведенные в стенах Кадетского Корпуса. Правда, что из-за прошедших долгих лет, разные вспоминающиеся случаи встают перед глазами в немного измененном виде, но мысли все время блуждают там, где рождена дружная кадетская спайка и так крепко заложено в душу сознание долга Русского воина, с безграничной любовью к нашей Родине.

Я люблю возвращаться мысленно в прошлое, когда на досуге в грустную минуту перечитываю записки из дневника, сохранившегося еще со дня поступления в Полоцкий Кадетский Корпус. День поступления не совсем было бы правильно считать со дня успешно выдержанного экзамена, но когда родители, в приемном зале, передав сына офицеру воспитателю, перекрестив, уходили и закрывали за собой дверь, то это и был момент настоящего начала кадетской жизни. Слезный комок подкатившийся к горлу постепенно исчезал под влиянием новых впечатлений. Корпусные помещения редко отличаются от еще недавно оставленной домашней обстановки. Группа друзей, детей офицеров из одного и того же полка, с которыми в играх и забавах прошло все раннее детство до поступления в корпус, сейчас находились вместе в одном классе, а и дружеское отношение других кадет, новых знакомых, уничтожали появившееся чувство одиночества. Первое знакомство с твердой кроватью и уроками отделенного «дядьки» — старшего унтер-офицера, о премудрости складывания одежды на табуретке как и уроки об аккуратной застилке постели, чищенья ваксой сапог до совершенного глянца, обязательного умыванья холодной водой до пояса, все это в начале казалось неожиданной неприятностью. А что касается насильного пробужденья еще в темноте в 6 часов утра рез-

кими звуками сигнальной трубы или громким барабанным боем, вызывало чувство несправедливого невнимания к спящим, но подтверждало о принадлежности к настоящей Русской Армии. Предупреждение же второгодников, что на вопрос старших по классу «будешь ли стараться?» нужно отвечать отрицательно, иначе «загнут салазки», ибо под «стараться» подразумевается — жаловаться, что Полочанину не надлежит, а также объяснение «гоненья к суку» нагоняло тревогу и заставляло хорошо запомнить эти советы.

А тут еще перед первым разом построения роты на утреннюю молитву, приказ старших кадет всем новичкам 1-го класса при прохождении по коридору в столовую и обратно, держать «смирно — равнение на бомбу!», вызывало тревожное любопытство. Что за бомба? и почему такое строгое приказание? Конечно, по выходе строем роты из помещения в коридор взволнованные взоры устремлялись по стенкам пока с левой стороны не обнаруживали на высоте приблизительно чуть выше одного метра от пола, до половины засевшего в стенку ядра своих 12 сантиметров в диаметре и на половину окруженного блестящей медной дощечкой вверху, на которой выгравирована надпись: «7-го октября 1812 года». Сразу же, без команды, руки были пришиты по швам, а голова повернута налево. Еще больше разгоралось любопытсыво когда в столовой было обнаружено, что каждая ложка, нож, вилка, супник и блюдо, имеют рельефное изображение этой бомбы, окруженной красивой виньеткой с выгравированными буквами П. К. Такие же буквы только шифрированы красным в середине были и на фарфоровых белых тарелках, блюдечках и кружках, а те же П.К. только в желтой краске были и на алых погонах с белым кантом у каждого кадета. Все это новое вызывало чувство гордого сознания, что ты теперь являешься нераздельной частицей всего этого. Это чувство росло и укреплялось еще больше после знакомства с историей самой бомбы и легендарным зданием Корпуса с длинными коридорами, множеством просторных зал, украшенных портретами Русских Императоров, и таинственными подземными ходами под самим зданием. Девиз корпуса «Один за всех, а все за одного», передаваемый из уст старших кадет младшим, рождали в душе чувство спайки, а святыни, старое и новое знамя, хранившиеся в корпусной Церкви, вызывали чувство долга и обязанности перед нашей Родиной, а сердце напол-

нялось верой, преданностью и безграничной любовью к России. Ежедневные прогулки строем, после утреннего чая, по городу под барабан и флейты, не взирая на состояние погоды и температуры, закаляли организмы и вырабатывали выправку полагающуюся кадетам. И все это так быстро заполняло душу, что затмевало совершенно мысли о прежних днях. Только лишь перед наступлением праздников загоралось желание вернуться домой повидать родителей, но не для того чтоб заняться опять прежними играми или беззаботно отдохнуть в семейной обстановке, а для того чтобы рассказать и похвастаться всем тем, что залегло так глубоко в душу и сердце уже в совершенно родном кадетском корпусе. К сожалению нашему поколенью Полочан выпала тяжелая доля. Вскоре после начала войны 1914 года, корпус был эвакуирован из Полоцка и по-ротно прикомандирован к другим кадетским корпусам.

Связь между старшими и младшими кадетами была прервана, а благодаря довольно недружелюбной встрече Полочан кадетами других корпусов, каждая рота замкнулась своей жизнью со своими обычаями, традициями и мечтами о скором возвращении в свое любимое гнездо родного зданья в Полоцке. Тревожные мысли о судьбе «бомбы» и о наших знаменах успокаивали объяснением, что знамена вместе с канцелярией и директором ген. Чигирь перевезены в Симбирск, а «бомба» осталась на прежнем месте и так как здание корпуса отведено под лазарет для русских раненых воинов, то находится в сохранности.

Часто, в свободную минуту, Полочане собирались в группы и улетая мечтами в зданье оставленного корпуса, хором пели свою песню «Не у Бога в раю». Грустная мелодия этой длинной песни нагоняло нежную тоску и усиливало сознанье дружной спайки Полочан в изгнаньи. Но, повидимому, Ее Величеству Судьбе, этого было мало. Как гром из ясного неба пронеслась весть об отречении от престола нашего Государя Императора, за этим последовала революция, вышел приказ заменить царские знамена на красный флаг и наша любимая родина залилась кровью. Еще совсем мальчики кадеты встали на защиту разрушаемой Отчизны и всего того что с такой любовью носили в своих душах. Массами стали поступать в Добровольческую Белую Армию. Но судьба требовала еще больших жертв. Много кадет погибло в боях, много пропало

без вести, а война была проиграна и корабли нагруженные остатками верных сынов России унесли их на чужбину. В Югославии из всех 32 Русских Кадетских Корпусов собралось только 3 Кадетских Корпуса, куда для продолжения неоконченного образования стягивались группами, а и в одиночку кадеты, очутившиеся за границей.

Так в Сводном Корпусе в Панчево, кроме кадет других корпусов очутилось с очень поредевшими рядами, только 2-ая рота Полочан. С какой радостью встречали новоприбывшего старого друга. Многие из них были георгиевскими кавалерами и даже некоторые, постарше, были уже произведены в офицерский чин за боевые отличия. Особенно запомнилось прибытие нашего Вячки Вержбицкого. По нем еще в России товарищи отслужили панихиду так как однополчане, очевидцы, рассказали, что видели при отступлении Вячку тяжело раненого в бою, которого захватили большевики и добивали штыками и ружейными выстрелами. И это был не преувеличенный факт. Вячка после был брошен в общую могилу и засыпан сверху землей.

Какая-то женщина, проходя мимо свежей могилы заметила из нее торчащую ногу, которая шевелилась. Она быстро откопала закопанного и убедившись, что он жив отвезла к себе домой, раздела, вымыла его и перевязала раны, но ран было много и так как кровь продолжала сочиться отвезла его в большевицкий госпиталь. Это был Вячка с 8-ю пулевыми ранами и 17 штыковых проколов. Там приняв его за своего стали лечить и выходили. Еще совсем слабого показывали публике его изуродованное лицо и тело как пример зверства добровольцев над «народной молодежью». Вскоре доброармия выбила большевиков и захватила госпиталь. С очень большим трудом и Божьей помощью Вячке удалось доказать, что он был кадет в добровольческой армии и его отправили на дальнейшее леченье в Крым откуда и эвакуировали в Югославию. Впоследствии еще за долго до Второй войны, обладая большим музыкальным талантом, Вячка был принят капельмейстером в гвардейский духовой оркестр Албанского Короля Ахмета Зогу. Вскоре после прибытия кадетского корпуса из Панчево в Сараево, Полочане были неимоверно обрадованы совсем неожиданной новостью. В Русском Кадетском Корпусе появилось вдруг старое знамя Полоцкого Корпуса, которое все уже считали пропавшим. Тайна его появления по разным

толкам приписывалась нашему кадету Бобке Короткому, который лично вручил знамя генералу Адамовичу. О деталях никто не знал, а сам Бобка не любил рассказывать и просто не отвечал на вопросы. Старое наше знамя было поставлено рядом с иконой в коридоре 1-ой роты у которой всегда горела неугасимая лампада, а у знамени днем и ночью посменно стояли дежурные кадеты. Утренние и вечерние молитвы строя роты перед Знаменем и иконой теперь произносились с увеличенным воодушевлением. Но жизненная гроза, разразившаяся Второй мировой войной уничтожила последние остатки кадетских корпусов и разбросала по свету бывших кадет. Казалось бы что с этим и совсем закончена история Российских Кадет. Но разве можно так легко забыть чувства заложенные крепко в души еще с первого класса поступления в корпус, эту дружескую спайку и приобретенную безграничную любовь к Родине? Да! мы побеждены, но не погребены« И невидимый строй бывших кадет зашагал к одному общему объединению кадет за рубежом, неся новый девиз: «Мы хоть рассеяны, но не расторгнуты».

Переписки, собранья, кадетские встречи и даже съезды начали создавать новый интерес к жизни. Появился и свой журнал «Кадетская Перекличка». Читая в этом журнале описанье 3-его съезда, задержалось внимание на фотографии вынесенных знамен перед строем и надпись: «Знаменщиком старого знамени Полоцкого Корпуса назначен сын воспитателя Полоцкого Корпуса полк. Рогойского — Владимир Рогойский». Значит наше знамя — живо! Рассматривать дальше фотографию было трудно из-за затуманенных глаз счастливыми слезами, но зато мысли умчались в прошлое. Вспомнилось как супруга полк. Рогойского приходила навестить старшего сына, Костю, кадета 1-го класса, держа за руку еще маленького второго сына Игоря. Игоря очень занимала бомба в стене коридора. Он всячески старался погладить ее, приподнимаясь на цепочки. Хотя бомба была на высоте чуть больше 1-го метра, но Игорь дотянуться к ней не мог, был слишком еще маленький. После промчавшихся лет, уже в Сараево я встретился с Костей и Игорем. Конечно, разговорам не было конца. Вспоминали случай как отец Кости при переправе из Румынии утонул в Дунае, как Костя был ранен при эвакуации Одессы и перешли на воспоминания о Полоцке. Игорь уже был тоже кадетом, правда младших классов, но довольно высокого роста и

стройный с настоящей выправкой кадета. Когда заговорили о «бомбе», то Игорь стал утверждать, что бомбу он хорошо помнит. Не веря ему мы попросили указать на какой высоте бомба находилась в стене. Игорь слегка задумавшись, приподнялся на цыпочки и вытянув высоко вверх руку, сказал: «Еще повыше!» Место указанное Игорем было много выше двух с половиной метра. Оба мы рассмеялись и объяснили Игорю настоящую высоту бомбы. Игорь смущенно качал головой и тоже хихикал приговаривая: «Да, забыл что я вырос, а впечатление осталось с детства!» Так вот из-за этого самого не «выросшего с нами и не постаревшего впечатления», а оставленного нам во всей красе еще с первых дней поступления в Кадетский Корпус мы и продолжаем чувствовать себя кадетами и как же прекрасно это чувство!

Леонид Буйневич.

У ПОЛОЦКОГО ЗНАМЕНИ.

"Во имя доблести, добра и красоты!"
К. Р.

Накануне ротного праздника в роте Его Высочества, — как в церкви: тихо и торжественно.

В этот день туда выносится знамя Полоцкого кадетского корпуса

Хоругвь, овеянная славой хранивших ее поколений, символ минувшего, залог будущего!

Ночь. Гробовая тишина. Знамя слабо освещено, а кругом — черная слепая пустота.

У знамени — пост.

От свежих елок густо и терпко пахнет смолою. Точно в склепе. В окно злобно и настойчиов стучит ветер, шуршит сухими съежившимися листями.

В глубоких складках знамени притаились призраки прошлого, — бессменные, охраняющие его часовые.

Там, за чертой, тоже ночь — бесконечная, страшная... Белая вьюга пляшет над снежной равниной, наметая сугробы над забытыми могилами.

Эти могилы забыты не всеми. Для нас они — вехи великого скорбного пути к Русской Голгофе, которым прошли

наши отцы и братья...

Тем путем прошли и скромные рыцари, что до нас несли караул у этого знамени. Они покинули родные корпусные стены, завещая знамя младшим. Повинуясь той великой силе, что зовется любовью к Родине, они ушли в эту мглистую, вьюжную ночь — и никогда не вернулись.

Маленьким героям жестоко мстиили за их пламенную любовь к Родине, за их бесстрашие... Дорогою ценой платили они в борьбе за прекрасное прошлое России, за ее славную тысячелетнюю историю.

Расставаясь с жизнью, принося себя в жертву «во имя доблести, добра и красоты», они мечтали услышать хоть отдаленный звон колоколов... Их гаснущие взоры силились разглядеть в туманном мареве белые Кремлевские стены... И с мертвеющих уст слетали слова благодарности и любви к Той, Которая приняла их святую светлую жертву...

Спите, орлы боевые! Ваш доблестный пример не останется без подражания!

Болезненно рождается свет... Его бледные волны разгоняют пугливые тени... Прочь, утренний сумрак! День идет! Наш день!

Юрий Старицкий.

XLI вып. Донского и X вып. Первого Русского Кадетских Корпусов. Во время 2-й мировой войны пропал без вести в рядах добровольцев Русского Корпуса. Вечная память Тебе, дорогой Юра.

ПЕСНЯ ПОЛОЦКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Не у Бога в раю — в Белорусском краю,
Где Двина с Полотою сливается
Монастырь был простой, Евфросинии святой,
Теперь мало он кем вспоминается...

Вот тут Полоцк возник, — город был не велик,
Но велик стал он славою Русскою,
А в двенадцатый год, как-то помнит народ,
Он полит кровью русско-французскою.

Не изгладится след Витгенштейна побед,
Ему памятник гордо вздымается,
И Французов ядро, что сразило его,
До сих пор все по нем сохраняется.

Скоро минет сто лет — помнит каждый кадет,
Этот памятник славы поставила —
Дань Россия свою, в память павших в бою,
В назиданье потомству оставила.

А из зданий одно — знаменито оно —
То постройка Стефана Батория;
Иезуитов был храм — перешел он и к нам,
Так гласит нам родная история.

Это Корпус — наш храм, все родное тут нам,
Это прошлое полно преданий,
Много видел он бед, и кровавый их след
Сохранился в легендах — сказаниях.

Проходили года, уплывала вода,
Поколенья кадет все менялися.
А наш Корпус стоит — славу предков хранит,
И легенды все те-же осталися.

Живописна Двина, как с сестрицей она,
С Полотою родной обнимается.
Струни — лагерь кадет — как нарядно одет,
Когда летом в нем жизнь пробуждается.

А на той стороне, далеко по Двине
Лес сосновый кругом растилается,
И наш Корпус родной, он над всей стороной
Скромно в мощи своей возвышается.

Сколько светлых минут пережили мы тут...
Знают только лишь стены старинные
Смотрят столько уж лет, на игры кадет
Колокольни, да тополи длинные.

Малоросс и Поляк, Белорусс и Русак
Все под кровлей одной уживалися,
Вот где дружбы святой, был рассадник густой,
Уваженье и честь развивалися.

И под сенью его, — что дороже всего —
Наши детство и юность осталися.
Золотые года!!. не вернуть никогда,
Точно вешние воды промчалися.

Но остался их след — Полочанин кадет
Никогда не забудет прошедшее
И с подушкой одной, вспоминает порой
Время юности нашей ушедшее.

Часто дружным кружком, мы усевшись рядком
Проводили на святках досуги
И рассказчик герой, развивал пред толпой
Идеалы кадетской задруги.

В тех рассказах живых, хоть наивно простых,
Честь кадета стояла высоко,
И вот эта то честь, но не подлость, ни лесть
В души нам западала глубоко.

Хоть трудненько подчас приходилось для нас
В этой школе кадетской неволи,
Но терпенье и труд, дружно в ногу идут
И ведут к независимой доле.

И с закваской такой, над обычной толпой
Полочане стояли высоко,
И везде был в пример, наш кадет — офицер
Его слава гремела далеко.

Alma mater, прими и как мать обними
Ты своих полочан однокашников,
Светочь правды неси и его не гаси,
Обними даже всех неудачников.

И я старый кадет посылаю привет
Всему нашему обществу милому...
Пусть же крепнет, растет и идет все вперед
Пусть же помощь дает и унылому.

Полочане друзья! посылаю вам я
Свои лучшие чувства всецело
Пусть Никола святой, своей мощной рукой
Вам поддержит великое дело.

Припев :

Гей! Полочане, вспомним свои
Вспомним старинные годы!..

Написал кадет Полоцкого Кадетского Корпуса
Василий Перфильев.

«ОНО САМО».

В трудную минуту кадетской жизни, когда нужно было что-то объяснить без указания причины, поводы и действующего лица, считалось вполне достаточным сказать: «Оно само». Глупее, конечно, трудно придумать и офицер-воспитатель на такой аргумент ничего не мог ответить.

Однажды, это спасительное «оно само» выручило и меня, уже при окончании «курса наук» Кадетского Корпуса.

Перенесемся воображением на 50 лет назад, в небезызвестный город Сараево. Тогда он еще хранил патриархальную колоритность турецких базаров, узких и кривых улочек, мощеных булыжником, с глинобитными домами своей типичной восточной архитектуры плотно прижатыми друг к другу, с окнами покрытыми густыми чугунными решетками и обязательными занавесками от любопытного глаза, или босанских турчанок с полу-закрытыми лицами чадрой в широченных цветных шальварах, или неподвижно сидящих у порогов турок, с миниатюрными столиками с неизменным кофейным прибором на них, в красных фесках, со скрещенными босыми ногами, с рядом стоящей парой цветных туфель. Словом, представьте себе весь тот восточно-замедленный ритм полутурецкого быта, который теперь кажется чем-то небывшим.

В нем, в этом городе, на видном месте, под крышей монументального здания казармы Короля Петра Освободителя, размещался Русский Кадетский Корпус. В то время нам, Кадетам, далеко не всегда удавалось интересно использовать свой воскресный отпуск, так как идти было не к кому. В подавляющем большинстве кадеты первых выпусков, растеряв своих родителей еще в России, в ее огненные годы, лишились семьи. Так, в моем отделении 4-го выпуска, если память мне не изменяет, было 24 кадета. Из них только двое-трое имели родных. То ли в Белграде, то ли где-то в про-

винции. Только у счастливца Виктора Буддэ тут же в Сараево, жила его добросердечная мамаша, баронесса Буддэ. Нужно признаться, мы частенько эксплоатировали эту ее добросердечность, совершая гурьбой налеты на ее скромно-беженский гостеприимный дом. Однако, и эти посещения не всегда были возможны. Мы, кадеты этих лет, отвыкнув от семей, и буквально пройдя годы «огня и воды» (без «медных труб»), огрубели и одичали. Желая поправить это зло, покойный генерал Адамович тогда обратился к сербскому обществу города Сараево, с просьбой принимать к себе по воскресеньям и праздникам гостями — кадет. Сербские дома широко и радушно открыли свои двери в ответ на просьбу Директора Корпуса. Он сам, по своему выбору, назначал нас, визитеров, приписав к определенным семьям. Так я оказался гостем «Проты», священника, Мартинковича, управлявшего, кроме своего прихода и большой кондитерской в городе.

Не зная еще языка и обычаев и совершенно отвыкший от домашней обстановки, не зная с чего начать разговор, я мучительно переживал эти мои посещения. А потому бывали воскресенья, когда я старался от этого «словчить» под разными предлогами. Мои же добрые сербы, в беспокойстве, что я не пришел, спешили послать посыльного с пакетом всяких сладостей. Посылка, конечно, дружно и весело уничтожалась всей нашей компанией.

Но вот однажды, накануне очередного воскресения, когда мне предстояла опять пытка моего визита, Вика Буддэ, упомянутый выше, предложил нам, вместо себя, составить компанию местным старшим гимназисткам для катания на санках. Я сразу забыл о своем Проте и его пирожных, и, мы, Слижков и я, радостно возбужденные предстоящей встречей с девицами, до нельзя перетянутые в талии поясами, и начищенные «на ять» бодро зашагали на условленное место снежной встречи. Не стану описывать переживания юной счастливой гордости от наших подвигов на санках, когда мы неслись в вихре снежной пыли, в одних гимнастерках без шинелей, «бочком» — ласточкой, вызывая восхищенные восклицания наших «дам», роскошным пробегом в несколько километров с горы Требович. Всем нам такие моменты знакомы. Но пусть не покажется это банальным, когда я скажу, что мы оба были бесконечно веселы и счастливы, как могут

быть счастливы юноши в свои 17 лет. Когда решительно все забывается, как и то, что без четверти 9 мы должны были явиться из отпуска дежурному воспитателю. Спохватились, как говорится, а было уже поздно. Что-то около 10-ти. Об этом, с веселым смехом, нам сообщили девицы, взглянув на свои часики. (Своих у нас, конечно, не было). Не сговариваясь, мы с товарищем решили продолжать веселье, а не «дезертировать» малодушно, оставив таких хорошеньких и симпатичных девушек на санной дороге. Да еще в такой час.

Но вот, наконец, утомленные воздухом и движением, оне решили, что им пора домой. И что, следовательно, мы их проводим по домам. Роль галантных кавалеров мы выполнили до конца. Откозыряв и пожав ручки у их дверей. На смену снежного пафоса и лунной романтики, пришла унылая реальность. Молча и далеко не бодро, мы зашагали в корпус. Улицы были пусты и прохожих почти не было. Что говорило об очень позднем часе. Действительно, часы на Ратуше показывали без четверти 12. Нас мучила общая мысль — что скажем в свое оправдание? Дойдя до ворот Корпуса, где нас встретил часовой — «войник са пушком о рамену» — мы так и ничего не смогли придумать. До дежурки оставалось всего два пролета лестницы на второй этаж, где наша 1-я рота крепко спала в этот час. И тут, считая последние ступеньки, я почувствовал вдохновение, что нужно как-то оглушительно соврать. Ибо другого выхода не было. Но еще не знал — что. Вот мы перед дверью дежурной комнаты, Слижиков явно оробел, посмотрев на меня с видом полной безнадежности. Тут я взял инициативу и нахально постучал в дверь Слышим глухое, негромкое «войдите». Выйдя впереди товарища, я нарочито громко, и отчетливо отрапортовал за нас обоих: дежурным офицером был как раз наш отделенный капитан Карпов, сладкий сон которого мы прервали и он был несколько смущен вставая с примятой кровати и оправляя на себе гимнастерку. Выслушав рапорт, он задал неожиданный вопрос: «Ну что скажете, где были?» Без задержки я выпалил: «Мы были на славе у адмирала Прица где и задержались». «... только мог протянуть наш Швабра, как мы его звали. «Ну, идите спать, голубчики». И «голубчики» лихо налево кругом и пулей в двери. И только, когда плотно она закрылась, Слижиков шопотом в изумлении спросил: откуда ты это взял?» — «Не знаю, говорю, «оно само выскочило». Ход

был рискованный, что называется «ва банк». Адмирал Прица был единственный адмирал в зарождающемся флоте Королевства С.Х.С. Его семья жила в Сараево, и какой-то кадет действительно бывал там по назначению генерала Адамовича. И это все что я знал. Была ли вообще «слава» в этой семье, католической и бывшей австрийской, — я так до сих пор и не знаю. Но что наш Карпуша, теперь уже покойный, Царство ему Небесное, ценил «Сувo Вишко» вино, в чем себе не слишком отказывал, это я знал. Так мы спасли свои отличные баллы за поведение, не потеряв ни отпусков на Рождество, и не заронив никаких сомнений у нашего отделенного.

Сергей Латышев
4-й выпуск
Русского Кадетского Корпуса.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКРЯБИН
Государственное Музыкальное Издательство
МОСКВА — 1940

ВОСПОМИНАНИЯ Л. А. ЛИМОНТОВА

Прошло почти 60 лет с тех пор, как я впервые встретил на «плацу» 2-го Московского Кадетского Корпуса худенького, слабенького бледного мальчика, с карими глазами, в мундире приходящего кадета.

Если бы я знал тогда, что этот мальчик, так мало похожий на настоящего кадета — будущий композитор Александр Николаевич Скрябин — никогда бы не позволил себе определять его качества грубым сжатием маленькой худенькой руки с длинными пальцами и не смотрел бы победоносно на маленькую фигурку согнувшуюся от боли. Увы! Я был тогда таким же «закалой», грубым и диким, как и все мои товарищи кадеты. Я дрался с Добросердовым и «вздул» его, но второй, Кайдович, «вздул» меня. Я получил марку 7-го силача в отделении. Саша избежал этой участи. Его слабосильность была ясна, и он сразу же был зачислен «в последние силачи». Однако ему видно не хотелось быть «последним силачом» и он обратил внимание на двух малышей-братьев,

Сашу и Яшу. Эти два новичка, братья-близнецы, приехали в Корпус из своего имения, в котором жили до сих пор почти безвыездно. Самые маленькие по росту, очень дружные, братья получили наказ от матери заботиться друг о друге и всегда сообщать друг другу все что услышат нового. Привыкшие к семье, к деревне, к теплу и ласке матери, они долго не вливались в общую кадетскую массу и на первых порах очень потешали всех нас своим необыкновенным поведением.

Особенно смешной случай произошел на первых строевых занятиях, когда старик полковник Торбеев, имевший странную кличку «Дурбас-Зеленоус» объявив новичкам как надо стоять в строю по командам «строиться», «становись», «равняйсь» и «смирно» перешел от слов, к делу. Став перед строем, он скомандовал «строиться». Шумная ватага, разобравшись по росту («по ранжиру, по команде «смирно» должна была замереть. Так и сделали. По команде «смирно» мы все замерли в самых разнообразных позах, и вдруг среди водворившейся тишины раздался ясный шопот: «Ты слышишь, Саша?» и ответ «Слышу, Яша... а ты слышишь, Яша?» — !Слышу, Саша»...».

Весь строй пришел в движение, команды «смирно» как не бывало. Торбеев, едва сдерживая улыбку, крикнул: «стать на места». Все слышали команду «смирно», а на левом фланге в наступившей тишине снова шопот: «Ты слышишь, Саша?» — «Слышу, Яша, а ты слышишь, Яша?» — «Слышу, Саша». Опять все сбились с ног. Торбеев пошел к левому флангу. «Кто здесь шептал?» Вопрос остался без ответа, «фискальство» у нас строго преследовалось.

«Я вам что сказал? По команде «смирно» все должны замереть, стоять не шелохнувшись и молчать, как воды в рот. Кто шептал?» Все молчат.

Но едва Торбеев двинулся с места, как снова зазвенел шопот:

— «Ты слышишь, Саша?»

— «Слышу, Яша... а ты слышишь, Яша?»

— «Слышу, Саша»...

Торбеев обернулся, и долго не мог сказать ни слова, борясь с душившим его смехом. Наконец, он стараясь придать голосу строгость, проговорил:

— «Вы это что же не слушаетесь? в карцер захотели?»

И больше уже добрый старик не мог говорить, ибо Яша, глазами полными ужаса, взглянул на него, и снова повторил:

— «Ты слышишь, Саша?», а в овет зашептал Саша:

— «Слышу, Яша... а ты слышишь, Яша?»

— «Слышу, Саша...»

Торбеев расхохотался, весь строй свернуло, в одну кучу и вслед за ним разразился смехом. Братья стояли испуганные и ничего не понимали. Когда Торбеев успокоился, он сел, привлек к себе братьев, и спросил, в чем дело. Оказалось, что братья выполняли наказ матери:

«Все что ни услышишь Яшенька, спроси Сашеньку — слышал ли он».

На одном из этих малышей Скрябин и хотел отыграться, чтобы спасти свою репутацию, избавившись от позорного звания «последний силач». Но это ему не удалось, ибо как только он, набравшись храбрости, напал на Сашу, в ту же минуту, как из под земли, вырос Яша и оба брата пошли в такое яростное наступление, что Скрябин бежал. Так и остался он в звании «последнего силача».

ИЗ КАДЕТСКОГО УГОЛКА.

Известно ли вам, что во флоте в двух случаях одевались шпоры? В первом случае шпоры одевал офицер Гвардейского Экипажа, которому полагалась лошадь и он ехал верхом при шпорах.

Во втором случае, когда после приказа в 1912 году, кадетские корпуса должны были выходить на военные прогулки всем корпусом, то в Морском орпусе в голове колонны ехал начальник строевой части, которому полагалась лошадь и он ехал при шпорах, а кадеты одевали высокие сапоги.

В ”Звериаде Оренбургского Неплюевского Кадетского Корпуса пелось про Директора Корпуса Генерал-Лейтенанта Феофила Матвеевича Самоцвета:

”Когда наш корпус основался, тогда разверзлись небеса и наш директор показался в лампасах синего сукна“.

Генерал-лейтенант Самоцветов, Оренбургского казачьего войска, был в начале службы испектором классов, а затем его назначили Директором Корпуса, где на этой должности он пробыл не менее 25-ти лет.

В Корпусе Графа Аракчеева была печать корпуса, где вместо Государственного Герба, был Герб графа Аракчеева, а в остальных корпусах на печати был Государственный Герб.

В 1885 г. Высочайше утверждены звания вице-фельдфебеля и вице-унтерофицеров.

При Керенском вышел приказ о сдаче всех знамен, Во время революции кадеты Нижегородского Графа Аракчеева Кадетского Корпуса разрезали знамена на куски и раздали своим товарищам, а древки были сожжены. Девиз аракчеевских кадет: "Без лести предан".

Иван Иванвич Бецкий, директор Императорского Шляхетского Корпуса.

Генерал-поручик И. И. Бецкий в своей "Педагогической Системе", выработанной им и предложенной как проект для Воспитанных Домов и Каетских Корпусов, с резксотью восстает против телесного наказания. "Не должно никогда, — говорит он, — кадета бить шпагою или фухтелем. Сие столь вредное злоупотребление происходило прежде. Кто не видит, что жестокое сие наказание отнюдь не прилично нежному возрасту... Болезненное сие наказание, производя ужас, заражает чувствия. Благородную душу должно воздерживать опасением пренебрежения или бесчестия, а не страхом телесного или вредительного наказания..."

Вместо побоев и розг, Бецкий разрешает, в случае необходимости, следующие меры:

1. Заставлять детей один или два часа, смотря по летам, стоять на одном месте, ни на что не опираясь;
2. Не пускать с другими гулять, сие весьма чувствительно детям, ибо от природы не любят покоя и насилия, что и доказывается в молодых животных;
3. Делать выговоры наедине, побуждая к раскаянию;
4. Пристыжать публично выговором;
5. Хлеб и вода на 12 или 24 часа сносны для возраста от 5 до 10 лет;
6. Смотря по возрасту, заставлять поститься, то-есть лишать завтрака, иногда и обеда, но никогда не отымать ужина;
7. Стояние в классе на коленях и
8. Наряды в караул на несколько времени.

Конечно, к перечисленным наказаниям рекомендовались всевозможные увещевания и объяснеиия на словах виноватому, как его вины, так и соответствующего ей наказания, чтобы дети знали, "что не попустому воображению, не по прихоти, и не по страсти, праведно осуждаются от начальников своих и наказываются силою Устава". Кроме того запрещалось совершать наказания или делать выговоры в момент личного раздражения. Все эти человеколюбивые правила, приходились, конечно, далеко не по сердцу большей части тогдашних педагогов, привыкших к ежедневному избиению младенцев, по правилу Домостроя: "Аще жезлом биеши сына, не умрет, но здрав будет..." Этот гуманный педагог времен Императрицы Екатерины Второй, будучи уже совсем дряхлым, окончательно оставил Императорский Шляхетный Корпус в 1786 г. Извлек Эраст С-Кий Суворовец 1го выпуска.

В Хабаровском Кадетском Корпусе:

— "Научный вклад" кадета в математику.

При изучении математических наук, как известно, требовалось удерживать в памяти ряд формул и цифровые выражения, чтобы при решении задач в будущем не возвращаться к лишним вычислениям. Так например, часто употребляемое численное выражение отношения окружности к своему диаметру "Пи" — 3,1415926536... . Чтоб запомнить такое число, в учебниках приводился и мнемони ческий способ ввиде фразы (по старой орфографии), в которой количество букв в каждом слове соответствовало по порядку требуемым цифрам. Фраза эта: — "Кто и шутя и скоро пожелаетъ "пи" узнать число ужъ знаетъ." Наши преподаватели Чмутов и Уманский поощряли удержание в памяти еще и другое, тоже трнсцендентное число, присвоенное "Основанию натуральных логарифмов", или т.-наз. "Неперово число": е-2,71828..., для запоминания которого никаких мнемонических способов не существовало.

Кадет 12-го выпуска В. Васильковский взял на себя смелость пополнить этот существенный "пробел в математике", тем, что предложил для пользования следующую фразу: "Да, Чмутов и Уманский бе мерзавцы". 2,71828.... Нелестный эпитет, примененный кад. Васильковским в заключении последней фразы, касательно преподавателям по математике, тем не менее, оказался и пророческим.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?: — Как известно, нам кадетам, Чмутов и Уманский с первых же дней "Великой — Бескровной" — оказались членами в Марксистско-Коммунистическом лагере.

Написал Олег Шкуркин.

В Хабаровском Корпусе, кроме знамени, пожалованным Государем Императором, было еще фиктивное знамя для тренировки знаменщика перед парадами. Оно имело кожанный чехол, без орла и вместо полотнища в чехле находилось полотнище из какого-то материала. Весной 1917 года, каеты предвидя наступающие события решили спасти свое освященное знамя: снять с древка, древко распилить, а фиктивное знамя сжечь на плацу, чтобы видела обслуживающая корпус команда солдат, которая была уже сильно распропагандирована, но события опередили задуманный план и корпуснго знмени не стало.

В Финляндском Кадетском Корпусе преподавание происходило на шведском языке. Погон синий с шифровкой "Ф. К.". Носили бескозырки.

Погон Тамбовского Кадетского Корпуса: черный с белым кантом с шифровкой "Т. К.".

Погон Тульского Кадетского Корпуса: синий с черным кантом с шифровкой "Т. К.".

Погон Казанского Кадетского Корпуса: серый с синим катом с шифровкой "К. К.".

Погон Константиновского Кадетского Корпуса: желтый с шифровкой "К. К.".
2-го апреля 1844 года сказано: "Углы на знамени Тульчинского Кадетского Корпуса светло-зеленые с темно-зеленым пополам".

Знамя Казанского Кадетского Корпуса: "Углы темно-синие с черным пополам".

Ташкентская Приготовительная Школа имела погон 2-го Оренбургского Кадетского Корпуса с шифровкой "Т. К.". В 1900 г. дан малиновый погон с шифровкой "Т.К.К.". В 1904 г. корпус получил шефство и на погон дан вензель Наследника Цесаревича.

До получения шефства 2-ой Московский Кадетский Корпус имел на погонах "2М. К.".

Приказом Генерала Врангеля Сводно Полтавский и Владикавказский К. К. были переименованы в Крымский Кадетский Корпус. Константиновское Военное Училище благословило корпус образом Св. Троицы, который находится в Военном музее.

Шефство Императора Александра 2-го К. К. дано 3-му Московскому К. К. в 1908 г.

Шефство Донскому Императора Александра 3-го К. К. дано в 1898 г. приказом по Военному Ведомству с. г. № 56.

Нагрудный знак Николаевского К. К. Высочайше утвержден приказом по Военному Ведомству 1913 г. за № 589.

Александровский Сиротский Кадетский Корпус основан в Царском Селе в 1837 г. Его штат: Директор Корпуса, инспектор, начальница, 15 надзирательниц, 27-м нянек с соответствующим количеством унтер-офицеров-дядек, смотритель дома, эконом и 3 врача. Кадет было 400, составляющих 4 роты, из коих одна

морская. Возраст от 7-ми до 10-т илет.
Наказания: кроме порки одевали на голую шею ошейник из грубого солдатского сукна.

"ДЕВИЧЬЕ" отделение Императорского Военно-Сиротского Дома образовало "Павловский Институт", называемый (ПАВЛУШКИ).

В 1851 г. Александрвский Сиротский Кадетский Корпус в Москве, назывался "ХОЛЕРНЫМ".

В царствование Императора Николая 1-го, когда Государь приходил в Морской К. К., то говорил: "Иду к своим детям". По приходе в Младшую роту садился на подоконник одного и того же окна и по долгу бесеовал с малышами.
В Морском Корпусе это окно обложено мрамором и на нем стоит надпись: "ОКНО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПЕРВОГО".

Собрал из разных источников:
П. Гаттенбергер.

В ГОСТЯХ В ХАРЬКОВСКОМ ИНСТИТУТЕ

По переезде Крымского Кадетского Корпуса из Стрнища в Белую Церковь наш седьмой класс был приглашен в гости в Харьковский Институт, находившийся в Новом Бечее.

Как мне помнится: это был прекрасный, теплый, летний день. Кадет сопровождал наш духовой оркестр, в котором «словчились» и порядочное число кадет из младших классов. Эти «смышленные», пристроились: кто нести ноты, кто — пюпитры, а кто как «ученики музыканты».

Приезжаем в Н. Бечей. Наше начальство знакомится с начальством института, а кадеты с институтками. Началась оживленная дружеская беседа.

Начальница и классные дамы вскоре убедились в том, что кадеты — воспитанные и порядочные молодые люди и не стали больше наблюдать за поведением молодежи, доверивши нам своих воспитанниц. Мы постарались это доверие оправдать, в чем весьма и преуспели.

В начале был устроен обед, где за столом были посажены все в перемежку. Мы же, музыканты, пожертвовав собой, добровольно согласились украсить обед музыкой: вальсами, увертюрами и т. д.

Будучи музыкантом и выводя соловьиные трели на корнете, я не мог следить за происходящим за столами и потому не могу описать подробности обеда. Знаю только, что все были счастливы.

Больше: кадеты были на седьмом небе, ну а на каком небе были институтки, право не знаю. Лучше всего их спросить об этом.

После обеда был перерыв пока убирали посуду, столы и стулья. Затем началась танцевальная вечеринка. Я хотел было сказать: «Бал», да побоялся читателя, а вдруг скажет: «тоже хватил... б а л !!.»

Мне и Жоржу Мириманову не повезло: танцевать не пришлось, т. к. мы оба были ответственные корнетисты и не могли оставить оркестр. Правда был еще корнетист Николай Бибер, подававший надежду на будущее. Он эту надежду впоследствии вполне оправдал, став в корпусе знаменитым корнетистом, но тогда мы еще не могли вполне на него положиться. Зато он и другие музыканты могли танцевать, чередуясь с другими музыкантами. Мы же с Жоржем были довольны и тем, что могли доставить удовольствие другим.

День прошел блестяще. Время пролетело так быстро, как будто это был прекрасный сон. Мы принуждены были проститься с милыми хозяйками, т. к. был приказ строиться, чтобы идти на ночлег: рано утром надо на поезд и домой в корпус. Наша поездка была только на один день. Как ни тяжело блыо расставаться, но приказ есть приказ: выполняй хоть тресни! Вряд ли кто спал в эту ночь: у каждого в душе запечатлелся чей-то прелестный образ и воспоминания о дивных мгновениях и чарующих ласковых взорах! Грустно было расставаться, да против судьбы не пойдешь!

Рано утром нас построили и мы с грустью двинулись на вокзал. Приходим, а поезда нет. Наше начальство узнало, что поезд-то «у-ту-ту» ушел: мы его проспали! Надо возвращаться в город. То-то мы, кадеты, обрадовались: еще один день провести в обществе милых институток. Можете представить, что мы переживали: еще один день!

Возвращаемся, как полагается, строем. Кто-то из нас предлагает: «Ребята, давайте сыграем марш тихо-тихо, чтоб не будить(!) сербов. И вот мы подходим с маршем «Старые Друзья» (это очень популярный марш у кадет). Играем едва слышно, но с большим чувством. Институтки как ус-

лышали марш, тотчас бросились с радостью к окнам.

Таким образом за пятиминутное опоздание на поезд мы провели еще один приятный, больше, незабываемый день и теперь уже не так тяжело было расставаться, как накануне.

Будучи музыкантом трудно более подробно описать это событие нашей кадетской жизни, но и этого достаточно, чтобы понять на каком небе мы находилсиь и как тяжело было снова очутиться на прозаической земле.

Воспоминание кадета 3-го вып. (№ 1923 г.)
Крым. Кад. Корпуса
Феодора Кадушкина

ЭТО БЫЛО У НАС В КОРПУСАХ

ПРОЗВИЩА.

В кадетских корпусах, по какой-то странной, неписанной традиции, очень часто товарищеские прозвища, оставшиеся потом на все время пребывания в корпусе, прилипали по какому-нибудь случайному поводу. Нечаянно оброненное слово или какой-нибудь жест, и прозвище, совершенно незлобивое, было готово. Играя в лопту сказал кадет, что он вспотел, как портянка и прозвище готово «портянка» не только в корпусе, но и на всю жизнь. Часто вспоминая своих однокашников после многих лет в жизни и желая припомнить его фамилию, то всплывало прозвище одноклассника, а не фамилия.

Сумский кадетский корпус. Прозвучал звонок, и окончился последний урок в корпусе. Завтра — начало подготовки к выпускным экзаменам, а их много надо держать по всем предметам. Никаких сюрпризов, каждый кадет знал, какие вопросы будут на экзамене, а потому старался повторить весь пройденный курс. На следующее утро после прогулки все идут на уроки, а у нас уроков больше нет, и мы, весь седьмой класс, собираемся вместе и поем вслед идущим по классам кадетам:

«Дети в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно,
Попроворней одевайтесь,
Смотрит солнышко в окно....»

Нечто о «ЗВЕРИАДЕ».

Недавно мне довелось прочесть о споре, который вели два бывших кадета. Спор касался происхождения «Звериады», известной кадетской песни. Заинтересовал меня этот спор еще и потому, что оба спорщика были кадетами моего Первого кадетского корпуса. Одна сторона утверждала, что первый автор этой песни был Лермонтов и происходит она, таким образом, из Николаевского кавалерийского училища, вернее из Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, другая считала родиной «Звериады» наш корпус и автором ее Рылеева. Я полагаю, что этот спор разрешить трудно, но он навел меня на некоторые воспоминания, касающиеся судьбы нашей «Звериады» Первого корпуса. Она представляла собой толстую книгу в которую каждый выпуск вписывал еще звериаду своего выпуска. В седьмом классе, обычно был особый «хранитель звериады». Чтобы она не попала в руки воспитателей, было издавно «хранитель» держал ее у себя дома.

В мае 1915 г., на выпускные экзамены прибыл, как он это делал нередко, Великий Князь Константин Константинович. Как и обычно, не сопровождаемый никем, он вошел в класс, принял рапорт дежурного по классу, попросил преподавателя продолжать экзамен, а сам прошел на «Камчатку» и сел на одной из последних парт.

Это он делал всегда, но тут случай сыграл роковую роль: он попал на место «хранителя звериады», который в это время отвечал у доски, а звериада лежала в его парте. Он принес ее из дому, имея в виду внести в нее звериаду нашего выпуска и затем передать ее следующему седьмому классу. Великий Князь открыл парту и, увидев странный футляр, открыл его, стал перелистывать книгу и заинтересовался ее содержанием. Он уже не слушал ответы несчастного «хранителя» и был потревожен только вопросом экзаменатора: «Неугодно ли Вашему Императорскому Высочеству задать несколько вопросов?» Великий Князь, повидимому, машинально ответил: «Нет. Отлично и так». Изумленный этим ответом экзаменатор несмотря на немалое «плаванье» плохого математика был принужден поставить ему довольно крупную отметку. Возвратившийся к своему месту «хранитель» был встречен вопросом Великого Князя: «Это — твое?» «Так точ-

но, Ваше Императорское Высочество, — выпускное». «Можно взять почитать? Я верну потом». Бедному кадету ничего не оставалось, как «разрешить». Событие это может быть и было бы скрыто, если бы звериаду Великий Князь вернул, но... В четверг 2 июня мы, находившиеся в это время в лагере корпуса в Петергофе, были поражены известием о смерти Великого Князя. Как нам говорили, в кабинете Великого Князя на письменном столе нашли раскрытую тетрадь нашей звериады. Таким образом был раскрыт секрет пропажи нашей звериады.

Как будто звериада была возобновлена следующим выпуском, 168-м, но уже по памяти. Следующий за ним 169-й выпуск считал, что так как нас переименовали в военную гимназию и мы перестали быть кадетами, то звериаду следующему выпуску передавать не нужно, мы же 170-й выпуск, несмотря ни на что, ни на то, что у нас отняли погоны и кокарды, продолжали считать себя кадетами и возобновили звериаду. Для этого возобновления, ночью, в декабре, была устроена специальная торжественная процессия из спальни по нижнему коридору, по большой лестнице в ротный зал. Каждый нес свечу. Думаю, что случайные прохожие были не мало удивлены мельканием свечей в верхнем этаже корпуса. В начале, кажется, апреля корпус перестал существовать и, конечно, с ним кончилась и наша звериада.

Н. Косяков.

ПОХОРОНЫ «АЛЬМАНАХА»

Похороны Nautical Almanach'а, происходившую в старшей гардемаринской роте во время выпускных экзаменов. Обычно болезнь Альманаха начинается дня за два до окончания экзаменов по мореходной астрономии. Бюлетени о его здоровье вывешиваются на английском языке. У помещения старшей роты вешается флаг «мыслите» (меньше ход.), и все роты в строю идут «на носках», несмотря ни на какие приказания офицеров: «Тверже ногу». Пение и громкие разговоры прекращаются, команды фельдфебелей и унтер-офицеров подаются в полголоса, так же как и ответы строем.

Жизнь всех рот регулируется так, как будто в доме есть тяжело больной, которого нельзя беспокоить. Листки с тем-

пературой больного появляются в самых разнообразных местах. В день экзамена по астрономии здоровье Альманаха ухудшается, и в момент конца экзамена он умирает, о чем корпус немедленно же извещается траурным объявлением. Альманах кладут в бумажный гроб, где он лежит до похорон. Похороны совершаются тайно, ночью чтобы никто не знал из посторонних не мог бы их видеть. У умершего Альманаха полагается вдова, роль которой исполняет гардемарин, отвечавший последним на экзамене по астрономии. Вдова, во всем черном, безутешно рыдает громовым басом, и при ней безотлучно находится «адъютант корпуса», который ее утешает. Вдове Альманаха рекомендуется присылать соболезнующие телеграммы. Как и полагается во всех морских церемониях, председательствует Нептун, с трезубцем в руке, окруженный своей свитой. Церемонию совершают три жреца в самых фантастических костюмах и с длинными волосами. Кроме церемонии принимают участие: хор плакальщиц, во всем белом: почетный караул, совершенно нагой, с небольшими повязками на бедрах: представители от Гринвича, Пулкова и от «шпаков», а также две артиллерийские батареи, люди которых должны быть рослыми, с сильными голосами, в костюме Адама, с маленькой повязкой на бедрах. Они впряжены в орудия цугом, въезжают в помещение и выезжают из него карьером.

Затем идет все «корпусное начальство». Представляющие начальство должны при произношении им соответствующих «восхвалений» кашлять и делать вид, что не слышат. Кроме того, на торжество приглашаются по три представителя от каждой роты, в заранее указанной форме одежды. Во все время церемонии они должны оставаться серьезными и хранить полное молчание. Гроб Альманаха выносится и тайно, под пение, несется в назначенное место. Отпевание совершается по заранее составленным песнопениям, в которых перебирается, конечно все начальство. Песнопения имеют тон погребальный. Главный жрец вздымает руки к небу, обращаясь к Нептуну. Нептун произносит высокую речь в похвалу Альманаха, причем в речь вставлены всевозможные астрономические и математические термины. Вообще все торжество можно разделить на две части: первая, когда Альманаха восхваляют и скорбят о его кончине, и вторая, обратная, когда все его ругают и плюют на него под неутешное басовое ры-

дание вдовы. Под конец службы произносится анафема всему начальству, которого не любили, и многолетие нескольким избранным. По окончании службы главный жрец торжественно поджигает Альманах, который горит под залпы орудий. Затем происходит парад, как будто бы его и не было вовсе. Я передаю это торжество в конспективной форме. Каждый выпуск варьировал его в зависимости от артистических способностей усторителей.

Нужно сказать еще несколько слов о «Золотой Книге». О ней все мы знали с первых дней пребывания в корпусе. Еще кадетами младшей роты мы с увлечением переписывали «поэзию» из нее, оставленную в наследство от предыдущих выпусков (у меня сохранились две тетради таких выписок).

Но тут надо оговориться: хоть о «Золотой Книге» всем было хорошо известно и считалось, что она хранится у фельдфебеля старшей роты и передается им следующему выпуску, но из опроса многих офицеров, старых и молодых, выяснилось, что никто и никогда ее не видел. Поэтому мне кажтеся, что будет более правильно думать, что «Золотая Книга» как таковая, в которую вносились произведения на разные случаи жизни, как в стенах корпуса, так и в учебных плаваниях, не существовала. А просто, появившиеся в разные времена «поэзии» расходились по ротам, записывались из года в год переходили, с вновь повяляющимися добавлениями, в тетради воспитанников. Таким образом дошли до наших дней и стихи о дальних плаваниях на фрегате «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ» (1892-93 г.г.) «У штурвала» (1880 г.).

Звериада 1888 года и более поздние, как «Баллада о истории Морского корпуса 1701-1901 г.г.», «6 ноября 1906 г.», «Обклад Гестеско» (Лушкова) и «Кошмар гардемарина марсафлота» (1912).

Не все обычаи остаются постоянными, а со временем часто видоизменяются и даже вообще исчезают, в зависимости от эпохи, от эволюции службы, которая, в свою очередь, следует за техническим прогрессом материальной части.

Г. Усаров.

«ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ С КАДЕТСКОГО КЛАДБИЩА»

Вскоре после окончания зверского кровопролития Второй всемирной войны все инженеры, землемеры, архитекторы, техники и чертежники, оставшиеся в живых и проживавшие на территории Югославии были привлечены к работе по восстановлению разрушенного бомбардировками Государства. Я, как техник строитель, был назначен на службу в штаб Воздухоплавания. Работы было больше чем много. Не было ни одного аэродрома уцелевшего от немецких и американских бомб. Начали летать по разным городам где были авиационные базы, составляли планы, отчеты, возвращались в штаб и снова улетали по новому заданию. Так однажды выпало на мою долю очутиться и на аэродроме Райловца, что находится совсем не далеко от города Сараево. После 15 лет, снова навестить места, где проходила моя юнность, где жил, учился и служил, где столько воспоминаний, а и не меньше того знакомых и наконец хотя бы навестить забытую могилу родного отца, что совсем рядом с кадетскими могилами, разве это не заключало в себе посланного судьбой счастья?

Уже на другой день, рано утром, мы осторожно спустились на разрытый бомбардировкой аэродром Райловца. Закончив предварительные служебные дела, мы на каком-то грузовике покатили в город Сараево. Остановились в полуразрушенной и разграбленной, когда-то прекрасной гостинице «Почта». Располагая свободным временем, я решил сразу же навестить могилу отца. Выйдя на улицу, нарочно медленно шел, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых. Шел внимательно рассматривая все, всецело отдаваясь воспоминаниям далекого прошлого. Мимо меня проходили люди в партизанских формах, вооруженные, проходили и штатские мужчины, женщины, дети. Мельком останавливал взгляд на проходящих лицах в надежде встретить знакомые черты, но, увы, все они имели свои собственные озабоченные выражения совсем не отвечающие моим надеждам. Выйдя на улицу, бывшую под именем Короля Александра, живо вспомнились кадетские парады и время проведенное в корпусе. Сколько раз по этой улице я

марпировал на правом фланге 1-ой роты, под звуки кадетского духового оркестра. Впереди на белом коне гарцевал директор корпуса генерал Адамович, за ним браво шел командир роты, полковник Самоцвет и потом внушительно отбивая шаги, вымуштрованные военщиной шли бравые роты кадет. Белые гимнастерки... малиновые погоны... сила... отвага... доблесть... красота незабвенная. Где вы сейчас родные однокашники?

Так я брел, вспоминал и думал. На моем долгом пути до кладбища на «Кошево» я не встретил ни одного знакомого лица, становилось на душе разочарованно, грустно и даже как-то жутко, казалось будто все вымерли или погибли в вихре этой жестокой войны. Вспомнилось и то, что уже совсем около кладбища всегда на одном и том же месте сидел безногий нищий. Я ему всегда, проходя, давал пару динар и слушал вслед летящие его виртуозно скомбинированные фразы благодарности. Вспомнив это, я даже ускорил шаги, чтобы скорее увидеть его, но увы и его там не было.

Купив у какой-то женщины цветы и восковые самодельные свечи, передо мной, под легким напором, с жалобным протяжным скрипом, открылись ворота сараевского военного кладбища. Могила моего отца мной найдена была быстро. Она была аккуратно убрана и свеже засыпанная цветами, как бы приготовлена для встречи, что удивило меня, но зажегши свечи и став на колени в глубокой молитве, я перестал думать об этом. Я долго и искренно молился, рассказывал мысленно отцу про мою жизнь, про мать, которая в начале войны попала в плен к немцам как сестра милосердия вместе со всем военным госпиталем и с тех пор пропала без вести, опять молился и опять рассказывал. Затем с облегченной душой я сел на скамейку рядом с кадетскими могилами и смотря на мерцающие свечи, всецело погрузился в воспоминания давно прошедших дней в этой умершей действительности. Память о прошлом ни что иное как мертвое кладбище прожитых дней и ощущений и оно мне необъяснимо дорого. Эта скорбная ласкающая тишина вокруг могилок и памятников, молчаливых свидетелей чьих-то слез и печалей. Эти вечно спокойные плакучие ивы; разные цветы на могилках; протоптанные дорожки между ними с белыми стертыми камушками; ограды порой местами наклонившиеся и густо заплетенные сочной зеленой травой; бесконечные кресты с надпи-

сями и карточками и все объято такой мертвой тишиной, что даже чудится как шаловливый ветер избегает залететь в этот уголок остатка прошлых жизней, чтоб случайно не всколыхнуть печально притихшую листву густых каштанов и не нарушить шумом эту тяжело заслуженную вечную тишину. Сколько раз я бывал здесь и вот этот уголок я снова посетил. В особенности близко сердцу именно это кадетское кладбище, где под одинаковыми малиновыми плитами с усеченным на них орденом Александра Невского лежат мои товарищи однокашники и друзья золотого незабвенного Русского детства. Мне даже дорого чувство, это мой отец похоронен как раз около кадет. Что-то родное, близкое и бесконечно знакомое порой на миг встревожит душу, набегут волной воспоминания, побегут мысли и вспомнятся дорогие места, знакомые лица и многие факты встанут так живо перед глазами со всеми деталями, что станет опять действительность давно прошедшая и забвенью преданная быль. Первая могилка, как раз у скамейки, принадлежит кадету Муравскому, чья жизнь и смерть не без своей трагедии. Это фактически была когда-то единственная и первая могилка на этом кадетском кладбище города Сараево. Появилась она вскоре после переезда кадетского корпуса из Панчево. По приезде корпуса в Сараево, Муравский загрустил. Ни с кем не делившись своими думами, он становился все молчаливее и задумчивее и избегал кадетские сборища. Однажды на вечерней поверке оказалось что Муравского нет. «В самовольной отлучке» записал дежурный офицер и приготовив в мечтах своих хорошую порцию наказаний стал караулить его возвращение. Прошла ночь, но Муравский не вернулся. Утром его отсутствие было доложено директору генералу Адамовичу. Начались розыски, одиночные допросы товарищей, соседей по парте, по кровати, но никто ничего не знал. К вечерней поверке опять Муравского не было, не было его и следующую ночь. Заявили в полицию и в жандармерию. Заработали телефоны и телеграфы, давались точные приметы, требовали карточки, но Муравский как в воду канул. Догадки были разные, имеющие даже свои основания, одни говорили — утонул, другие — что убежал обратно на Родину, третие... уж и не помню всех, но прошло порядком дней и ночей, как однажды под вечер был извещен директор, что в городском парке обнаружен труп повешенного на дереве кадета. Никаих прощальных писем при нем не оказалось, а

так как доктор установил что смерть наступила повешением приблизительно за девять часов до обнаружения, то просят директора прибыть в мертвецкую для опознания трупа. Через пару часов нам стало известно, что в повешенном опознан Муравский. Что с ним было и где он был все это время и что фактически случилось так Муравский и унес с собой в могилу навсегда тайну своей смерти. Ну а живые что? Поговорили, потолковали да и забыли.

Вот дальше пять могилок с такими же малиновыми плитами. Стали они в строй одна за другой. Покошенные молодые жизни эпидемией менингита. Помнится тревога в ротах. Утром вставали все здоровыми и бодрыми. Часов в 8 утра о сильной головной боли кто-то из заболевших уходил в лазарет. В 10 часов его уже на носилках выносили в автомобиль скорой помощи, а к 12 часам уже военная больница извещала директора телефоном о смерти заболевшего. Итак через четыре дня в пятый, как-то по правилу без исключения, выбирал свои жертвы из нашего строя жестокий менингит. Частым присутствием на погребениях невольно рождалась мысль, что может быть следующей жертвой будет именно он или кто-то из нас и многие грустно шутя выбирали себе еще не занятые места на кладбище.

Так и я, помнится, выбрал себе место под развесистым каштаном, вот как раз там, где копошится черная птица на желтых ножках. Но судьба хотела иначе и мое место занял мой хороший друг, уже окончивший кадет Вайскерберг. Биография его очень малым отличается от биографии других кадет. Так же как и другие он родился в России, родители — потомственные дворяне, при чем тоже и его отец офицер Императорской Армии, также он поступил в кадетский корпус как и другие, пережил и революцию, борясь в рядах добровольческой армии как и другие кадеты, и так же остался без родителей как и большинство наших товарищей, но только с той разницей, что мать его была жива и проживала где-то при самой границе Польши в России и он это знал и с ней каким-то образом переписывался. Окончив корпус унтер-офицером он пошел в университет, где тогда еще студенты-кадеты находились в бедственном материальном положении. Без средств, много занимаясь в вечных недоеданиях, молодой организм быстро начал сдавать. Появившийся катар легких перешел в туберкулез, быстро развиваясь и накладывая свою

характерную желтоватую бледность на похудевшее лицо. Будучи уже больным он часто навещал кадетский корпус, проводил долгие часы в беседах с генералом Адамовичем и чувствуя приближение своего конца стал настойчиво хлопотать перед смертью еще раз повидать свою мать. Письмо за письмом отсылались матери и материнское сердце поняло желание единственного сына и начала со своей стороны хлопоты о последней встрече. Петру, как звали его, с каждым днем становилсоь все хуже и хуже. Туберкулез из легких перешел на туберкулез желудка, горла, носа и уха. Мучаясь и страдая от безумных болей Петр слег и уже не вставал с кровати. В бреду он только и звал свою маму, а приходя в себя первое что спрашивал — приехала ли мама. Сознавая вполне приближение своего конца он попросил директора навестить его. Адамович поспешил к умирающему. Просьба Петра заключалась в том, чтоб на его похоронах играл наш кадетский духовой оркестр. «Хочу чтоб меня похоронили с музыкой, маме будет легче переносить потерю». Директор обещал. С этого дня музыканты стали разучивать похоронные марши, которые до сей поры еще не приходилось играть. Звуки «Бетховена, Шопена, Моцарта, унылыми грустными мелодиями заполняли наши помещения и назойливо влезали в наши уши.

«Кого это они все время хоронят?» спрашивали друг друга кадеты. «Вайскерберга!» был ответ знатоков. «Да ведь он же еще жив?» «Жив, но должен скоро умереть», — переходило из уст в уста по нашим ротам. Некоторые повторяли слова Адамовича, что он не умрет пока не приедет мать. Кто верил в это, а кто нет, — не знаю. В один из отпускных дней мы пошли навестить умирающего. Нас впустили к нему, но предупредили, что он уже без сознания и смерть доктор ожидает каждый момент. Услышав открывающиеся двери Вайскерберг попытался приподняться с кровати, громко спросив: «Приехала мама, скорей пустите ее ко мне, я не могу больше ждать». Это было все, нас он не узнал и просто не видел, мы на цыпочках вышли из комнаты. Мать не приезжала. Выбраться тогда из России было не просто да из нас никто и не верил в эту невероятную возможность. Было безумно жаль нашего друга, жаль и обидно за его жизнь. Проходили дни, недели, оркестр все продолжал разучивать похоронные марши, мелодии которых каждый из нас выучил наизусть, но Вайскерберг не умирал хотя ему становилось все хуже и хуже. Вне-,

запно как-то утром Адамовича оповестили что мать Вайскерберга приехала, каким-то образом удалось. Эту весть и мы приняли как радостный привет с нашей родины, тем более, что это была первая персона, которая выбралась оттуда за наше пребывание за границей. Сразу же мы решили поспешить навестить и нашего друга и представиться его матери, желая поставить себя в распоряжение на случай надобности.

Но Петя и не думал умирать.

В совершенном сознании, бесконечно весел и спокоен, в ночном халате он разгуливал по комнате и весело беседовал с нами. Его мать, уже в пожилых годах женщина, маленького роста, сидела около аккуратно убранной Петиной кровати и спокойно штопала чулки. Провожая нас до дверей и прощаясь с нами Петя весело говорил: «Ну теперь-то я уже спокойно могу умереть, есть глаза кому закрыть!» Мы ответили шутками на эти слова, искренно веря что Петя начнет понемногу поправляться и радовались за него и за его мать.

На другой день нам объявили, что Петр Вайскерберг — скончался. Умер он спокойно, при полном сознании, держась за руку своей матери.

Хоронили его под музыку кадетского оркестра. Стройные ряды кадет мерно колыхались в такт похоронного марша. Сразу же за гробом, директор корпуса вел под руку в траур одетую мать Пети. Она шла такая же спокойная как была дома, штопая носки, сидя около кровати сына и в наших сердцах вызвала глубочайшее уважение...

Было это на последнем уроке перед окончанием корпуса, когда дежурный по классу скомандовав: «Встать, смирно!» и подойдя к вошедшему преподавателю традиционно отрапортовал: «Господин Преподаватель»,

Весь класс
Просит Вас
В последний раз
Прочесть рассказ!

Преподаватель Гизе, маленького роста, худой, живостью, проявлявшейся во всех его движениях, скрывал совершенно свои пожилые года. Он не имел правой руки по плечо. Пустой рукав был всегда аккуратно всунут в карман пиджака и задерживал на себе не мало любопытных кадетских взглядов. На лбу его головы, с левой стороны был след довольно глубокой большой раны, затянутой тонкой кожицей, которая заметно

все время пульсировала и вызывала этим неприятное впечатление, в особенности, когда преподаватель начинал волноваться или сердиться, то пульсирование увеличивалось и доходило до того, что непременно казалось будет наступление момента, когда мозги выскочат, пробив тонкую кожу.

По старым кадетским обычаям в последний урок перед каникулами не полагалось заниматься и преподаватели охотно соглашались час урока провести в беседе с кадетами не надоедая им больше наукой и колами, показывая себя с другой стороны педагога, незнакомой для кадет, в более близкой семейной обстановке обыкновенной жизни.

Что и говорить, обычай хороший, слава Богу, чтимый в одинаковой степени кадетами и преподавателями за столькие годы существования кадетских корпусов. Потому ничего не было удивительного в том, что Гизе с приятной улыбкой сев за кафедру, оставил в покое классный журнал и не вынул своей записной книжки. Кадеты замерли в любопытстве, а Гизе грустно улыбнувшись начал свой «последний рассказ»:

«Целый год я наблюдал ваши любопытные взгляды на моей ране на голове и на плече, где у меня уже много лет нет руки. Вы были корректны и несмотря на свое любопытство никогда не спрашивали меня об этом и не задавали мне никаких вопросов, но сегодня я думаю вместо чтений какого-нибудь рассказа просто рассказать историю из моей жизни, что объяснит вам как я остался без руки и получил такое глубокое ранение на голове. Должен вас сразу же разочаровать, — это, дорогие мои, не война. На войне я не был, может быть именно из-за руки не был. Но моя судьба предназначенная Всевышним еще с ранних лет. Я был кадетом Киевского Кадетского Корпуса и так же как и вы имел целую голову и обе руки и так же мечтал и готовил себя на служение в рядах Императорской Армии в качестве офицера одного из кавалерийских полков. Мои родители, как и ваши, были тогда люди со средствами, имели свое имение недалеко от Киева, свой дом и свою мирную налаженную годами спокойную хорошую жизнь. Нас было три брата и одна сестра. В нашем доме каждый имел свою комнату и когда мы все собирались в отпуск на летние каникулы, то время проведенное нами можно было бы записать в самые счастливые дни времени мной прожитого. Как-то купаясь в реке, что протекала недалеко от нашего имения, я сильно простудился, простуда перешла в воспаление легких

и я был прикован на долгое время к постели в моей уютной одинокой комнате. Окно моей комнаты было на втором этаже и выходило в густой, почти что дремучий сад. Болезнь начала принимать такие размеры, что бред и высокая температура не покидали меня, а доктора вызываемые моими родителями, не на шутку стали беспокоиться о состоянии моего здоровья, которое стало угрожать жизни и по углам коридоров приговаривали меня к определенной смерти. Я сам чувствуя очень плохо, видя встревоженные взгляды родных, слезы матери и влажные глаза сестры, понимал, что дни мои сочтены, хотя внутри души что-то подсказывало мне что я выживу. Было ли это сознание молодости, борьба организма или что-нибудь другое, — не знаю.

Как-то раз, забывшись в бреду я увидел сон, что какой-то седой старик, никогда мной не виданный, вошел ко мне в комнату и подойдя к моей кровати спокойным тоном заговорил:

«Ты, говорит, не бойся, болезнь твоя хоть и опасна, но не страшна. Ты выздоровеешь и опять будешь веселиться, но за это выздоровление ты мне заплатишь рукой. Я возьму ее у тебя ты снова будешь болен и очень тяжело болен, пострадает твоя голова, но не волнуйся и запомни. Ни от потери руки, ни от разбитой головы ты не умрешь, это я тебе обещаю. Будешь жить долго, но умереть тебе суждено от ноги». Старик вышел из моей комнаты, а я проснулся. Сон был до того ясным, что нервы мои напряглись до крайней степени, ощущал в комнате невидимое присутствие кого-то, а взглянув на окно увидел на фоне ночи за стеклом окровавленную руку и разбитую мою голову. Я закричал и потерял сознание. На утро мне стало значительно легче, а доктора уверяли, что кризис миновал и можно ожидать моего быстрого выздоровления. Видение и сон прошлой ночи мучили меня своею ясностью и не давали покоя ни моим мыслям ни моему настроению и к вечеру, когда около моей кровати собрались родные я не мог удержаться, чтоб не рассказать им мое видение. Братья стали смеяться и шутить, мать приписала все моему бреду и успокаивала меня, а сестра недоверчиво взглянула на окно и внезапно вскрикнув, упала в обморок. Мы тоже взглянули на окно и замерли от ужаса. На фоне наступающих сумерек, за стеклом ясно вырисовывалась человеческая рука и кусок разбитой головы. Это видение слилось в одну ясно обрисованную форму ноги и исчезло.

Братья бросились к окну, выглядывали, рассматривали, старались найти объяснение виденного. Мать приводила в чувство сестру, а я лежал и с тревогой смотрел на окно и сознавал, что на этот раз это не был бред и что в этом видении есть что-то роковое и неизбежное.

Время летело, я давно выздоровел, опять жизнь наполнилась веселыми моментами устраиваемыми пикниками, рыбной ловлей, катаньем на лодках, что особенно ярко врезывается в память, благодаря исключительной, красивой и красочной русской природе.

Подходил конец каникулам, начались сборы и упаковка вещей. День отъезда назначен на завтра. Последний вечер мы сидели в столовой все в сборе и пили вечерний чай. Мысли наши были такие же спокойные как и вечер, спустившийся незаметно и окутавший сумраком притихшую пожелтевшую листву на деревьях нашего сада.

Из открытого окна пахло осенью. Кругом была вечерняя тишина и понятно, что крик испуга прислуги, вносившей уже второй самовар, обратил на себя наше внимание. Прислуга тряслась и испуганно смотрела в окно. Наши взоры перенеслись тоже на окно и мы вновь замерли от знакомой картины. За окном, опять как во время моей болезни, ясно висела в воздухе рука, вырисовывался череп, все это соединялось в форму ноги и исчезло. Мы бросились к окну, но не установив ничего с неприятным чувством разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи. Я долго не мог заснуть, даже хотелось увидеть еще раз это ужасное видение и более внимательно рассмотреть детали, но сколько я себя не настраивал смотря в окно, я больше ничего не видел. Заснул поздно, а на утро, когда проснулся, лошади уже были запряжены. В столовой ожидал меня уже готовый завтрак, прислуга возилась около моей корзинки и я заспешил к отходящему поезду. Прощание, слезы, маханье платочками, топот лошадей и спина нашего кучера как-то внезапно заменили веселые дни прожитые в имении, унося меня вновь к другой жизни, резко отличающейся от домашней.

Прозвучали три звонка, раздался свисток, застучали колеса, сначала медленно, постепенно переходя в какой-то монотонный мотив одинокого такта, к которому удивительно подходили все время повторяющиеся в уме слова: «по...ехали, по-ехали, по-ехали...» Замелькали телеграфные столбы, за окном

задвигались пейзажи и побежала куда-то тропинка, Бог весть, кем протоптанная около полотна железной дороги, а мысли перенеслись вперед к месту куда ехал. Прошел год жизни вне дома. Закончились опять занятия и экзамены и я опять веселый и жизнерадостный сел в поезд, который меня помчал в родные любимые места нашего имения на летний долгожданный отпуск. Станция конечной цели моей поездки была маленькая, скорый поезд, в котором я ехал, на ней не останавливался, а проходил мимо лишь замедляя ход и нужно было быть заранее приготовленным, чтоб соскочить во-время на платформу, иначе же предстояло ехать до следующей станции и возвращаться на лошадях 55 верст, что каждому молодому и энергичному человеку представляется невероятно бессмысленной потерей времени. Потому я заранее вынес на площадку свою корзинку и стал поджидать подхода поезда к станции. Время шло быстро. Вдали стали вырисовываться дома, знакомые места, мелькнула среди сада красная крыша нашего дома, на зеленом поле паслись наши коровы, блеснула за пригорком река, промелькнул открытый семафор, а издали быстро росла приближающаяся станция с высокой водокачкой. Ярким пятном на пероне засверкала красная шапка... но поезд не замедлял хода. Поровнявшись с зданием станции я выбросил сначала мою корзинку. Она покатилась, подскакивая по перону и не теряя времени, ставши на нижнюю ступеньку вагона. я спрыгнул...»...

Преподаватель Гизе замолчал, видно было что он вновь переживает какой-то прожитый момент жизни и задумавшись, уставился в одну точку, как бы стараясь вспомнить забытую деталь своего рассказа. Мы это молчание не нарушили *ни* вопросами, ни шумом движений. В классе была мертвая тишина. Потом, как бы отгоняя от себя назойливые мысли, он продолжил: «Да, дорогие мои, я прыгнул и очень неудачно. На пути моего прыжка был железный фонарный столб. О него я ударился головой как раз этим местом, на которое вы смотрели в течение целого года с таким любопытством. Удар был настолько силен, что я сразу потерял сознание, а столб согнулся, череп как видите лопнул, а меня отбросило под поезд и колесом последнего вагона отрезало руку по плечо. Подобрали меня железнодорожные служащие и отправили спешно в госпиталь и только после долгих месяцев мучения и лечения вернулся я вечным калекой домой, потеряв и мою

жизнерадостность и намеченную карьеру, мирясь со скромным путем преподавателя немецкого языка в родном мне корпусе. По настоянию старшего брата, начался суд с железнодорожной управой, на котором моему адвокату удалось доказать неправильность стояния рокового фонаря и незамедление хода поезда, после чего я получил большое денежное вознаграждение за понесенное увечье и пожизненную пенсию, которую теперь с моим эмигрированьем я, конечно, потерял. С той поры на нашей станции стали останавливать скорые поезда, но это все не возвратило мне потерянную руку и не починило сломанный череп.

Как видите сон и видение, которое трудно объяснить обыкновенным явлением, сбылись с точностью. Я уже стар, с тех пор прошло уже много лет. Я часто бывал болен, часто простужал голову и по мнению докторов уже не раз был на краю смерти, но не было ни минуты, чтоб я подумал о смерти, ибо знаю и верю, что пока мои ноги здоровы и целы я буду жить, а смерть моя наступит только от ноги. Потеряю ли я ее приблизительно так же как и руку или Бог смилуется надо мной и избавит меня последний раз от таких сильных мучений, не знаю, как и не знает каждый из вас что его ждет в будущем, но я глубоко верю, что смерть моя будет тесно связана с ногой. Я ее так ясно видел в окне моей комнаты в прошедшие дни моего детства как и руку, которую потерял. Запомните этот мой рассказ и проверьте сами в будущем. Я уже стар и думаю, что мне не долго осталось ждать разрешения загадки заданной в детстве. А сейчас желаю вам провести каникулы как можно лучше и очень благодарю вас за корректное молчание и незадавание любопытных вопросов относительно моего увечья. Вы были настоящими джентльменами, а сейчас за это, думаю что ваше тайное любопытство удовлетворено. Не поминайте лихом дорогие, а если кто из вас имеет какую-нибудь обиду против меня, то пусть простит искренно, по-кадетски. Я вас учил и хотел каждому из вас только добра и для меня все вы одинаково кадеты родного Русского Корпуса».

Последний урок немецкого языка этим закончился. Преподаватель ушел. Мы разъехались. Забылось многое под впечатлением новой начатой жизни и только сейчас, сидя на скамье родного кадетского кладбища, встает опять былое перед глазами со всей ясностью, навевая какие-то неясные думы о непо-

нятных и необъяснимых случаях в человеческой жизни. Передо мной могила преподавателя Гизе. Он похоронен тоже на кадетском кладбище. А умер от чего? Странно как-то! Возвращаясь домой после уроков на совершенно ровном месте подскользнулся и упавши на обух топора разбил коленную чашечку на левой ноге. Началась гангрена и в два дня судьба исполнила свое предсказание, заставив нас слушающих из уст самого Гизе «последний рассказ» глубоко задуматься о странных, необъяснимых явлениях в нашей природе.

А вот дальше, в самом центре кадетского кладбища, под высоким памятником павшим воинам такая же могила покрытая одинаковой малиновой плитой как и у остальных, только надпись на ней другая и гласит: «Директор Русского Кадетского Корпуса, Генерал-лейтенант Борис Викторович Адамович». И тут есть что вспомнить. Сколько тяжелых душевных переживаний нанес он мне своей несправедливостью за время моего пребывания в Корпусе. Верю, что во всех зарубежных кадетских корпусах не было еще кадета, который бы оставался без отпуска столько раз, сколько просидел я безвыходно по несправедливой придирке славного уважаемого директора. Также верю, что мной установлен и рекорд в количестве получения по наказанию сверхсрочных нарядов по разным дежурствам, тоже совсем незаслуженных. Его необъяснимая ненависть ко мне не была секретом ни для кадет, ни для состава педагогического комитета, члены которого, кстати сказать, разделились на два лагеря, одни за меня, — другие придерживались приказаний Адамовича. Нам это стало известно из подслушивания с чердака через отверстие в дымовой трубе точно над залой где «заседали звери». Но я терпел все и лавировал как мог. Я не был ни выгнан, ни переведен в другой корпус, какова участь постигла очень многих кадет, даже и воспитателей, которые впадали в немилость генерала. Но когда я получал аттестат об окончании корпуса, то генерал Адамович, выдавая его мне на руки, подписывая свое имя, злобно встряхнул пером поставив большую кляксу со словами: «Это тебе на память от меня за признание твоей победы!»

Но насколько его придирчивая ненависть ко мне была велика за время моего пребывания в стенах корпуса, настолько великая любовь ко мне проявилась в нем после окончания корпуса. Часто вызывая меня к себе он сердечно, чисто по дружески беседовал со мной, признавая свою несправедли-

вость ко мне и искренно жалел что раньше так жестоко ошибался в своем мнении. Признавая мой музыкальный талант поручил мне организовать в корпусе балалаечный оркестр и по моему усмотрению заказать нужные инструменты на фабрике Циммермана. Назначил меня штатным учителем народных инструментов и очень гордился успехами оркестра на многих и частых выступлениях в разных благотворительных концертах в городе Сараево.

Сейчас же смотря на его могилу и зная, что не нужно опасаться нервного постукивания носками его сапог, могу спокойно не только признать за ним великое дело поднятия имени Русского Корпуса на высоту но и выразить благодарность за все «безотпуски» дававшиеся мне в корпусе, ибо считаю что это время безвыходно просиженное в стенах корпуса послужило развитию моего музыкального таланта, а музыка мне помогла много в жизни. Значит, выходит, что «нет худа без добра».

Дальше, как раз на границе перед началом строя кадетских могил с малиновыми плитами такая же по форме могила, но только без ордена Александра Невского и серая по цвету. Черными же буквами вырезано имя «Мурза Яша». Не Яков, а именно Яша, что звучит как-то нежней и ближе сердцу. Живые посетители кладбища и проходящие здесь, читая надписи на памятниках получают минутное впечатление, что здесь лежит какой-нибудь маленький мальчик, который еще и не заслужил более солидного имени. Это моментальное впечатление уже исчезает при чтении незнакомого имени на следующей надгробной плите и совсем забывается. Но это только для других и совсем не так для меня, знающего его по нашему Корпусу, не забывая его когда он впал в немилость и был переведен директором в другой корпус и оставаясь хорошим другом после окончания. Яша был взрослый юноша, стройный, умный и очень хороший друг. Густые черные волосы придавали бледность лицу, а непокорная прядь волос, слегка спускающаяся на лоб, так напоминала русскую песню про кучерявый чубчик, что так и звали его друзья «Чубчик». Многие знакомые даже не знали его фамилию Мурза, притекшую откуда-то из времен трехсотлетнего татарского ига. Не знали и того что он крещен по имени Яков в память прадедушки, потомственного дворянина и героя отечественной войны и не знали что дома звали его ласково Яша и не знали только по-

тому что он закрепил за собой среди друзей и знакомых свое, так подходящее, прозвище «Чубчик». Никогда не сходящая с уст веселая улыбка делала Чубчика бесконечно милым и симпатичным. Не могу отогнать назойливой мысли, что это место где похоронен Яша должно было быть пустым. Но судьба есть судьба, а случилось это просто и весьма неожиданно. В один из дождливых холодных вечеров вошли в ресторан три приятеля: Лялька Скалковский, Женя Колчин и Яша Мурза. Два остальных приятеля из этой компании Леонид Забродин и я сидели уже давно в этом же ресторане с компанией местных знакомых. Все пять друзей были окончившие кадеты, службой зарабатывая свой кусок хлеба в разных учреждениях города Сараево, но жили все вместе в одном доме снимая три комнаты. В одной на этаже жил Скалковский и Мурза, в другой рядом Колчин, а внизу Забродин и я. Обедали и ужинали в разных ресторанах города, но Чубчик дома у своих родителей. За то свободные вечера почти всегда неразлучно проводили вместе, весело, дружно, никогда не ссорясь и не злясь один на другого, словом, продолжали жить как жили в кадетском корпусе. В том, что три приятеля пришли в ресторан ничего не было удивительного. Не было ни странно что они сели за другой пустой стол так как мы находились в незнакомой им компании. Но немного спустя вдруг за ихним столом раздался выстрел. Скалковский подхватил падающего Чубчика за руки, но не удержал и Чубчик грохнулся на пол мертвым. Револьвер лежал на столе где сидел Яша, а Колчин и Скалковский стояли растерянные и бледные рядом. Мы быстро подбежали, подошла и остальная публика. Никто ничего не мог понять, одно было ясным, что Чубчик мертв. Пришла полиция с доктором, разогнали публику по домам, установили самоубийство, ресторан закрыли и казалось все этим и кончилось. Родители оповещены, револьвер опознал отец Чубчика и признал за свой, а через три дня состоялись похороны. Мы все конечно присутствовали. Сознавая всю нелепость такой судьбы, жалели, но ничем помочь не могли. Жизнь побежала дальше своей колеей. Колчин переселился в комнату к Скалковскому на место Чубчика и нас осталось четверо. В первый день после похорон вернувшись домой мы решили, в виде траура, никуда не ходить и вечер провести дома. Разговоры не клеились, все вертелось в воспоминаниях отдельных случаев совместной жизни с Чубчиком и больше мы мол-

чали чем говорили. Раньше обыкновенного разошлись по своим кроватям. Забродин сразу повернувшись к стене и закутавшись одеялом с головой прекратил всякую возможность дальнейших разговоров, ну и я тоже забрался в кровать и вскоре дремота начала вступать в свои права. Внезапно я почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Поворачиваться было лень, открыть глаза тоже не хотелось, думая что Забродин хочет меня или спросить или сказать что-нибудь, я притворился спящим, но толчек по плечу усилился и повторялся. В момент когда я уже решил повернуться и спросить что хочет от меня Забродин я был поражен неожиданностью, ибо Забродин довольно неприветливо обратился ко мне с этим же вопросом: «Да чего ты меня трясешь и не даешь спать, что ты хочешь?» Я зажег свет и мы долго вопросительно смотрели друг на друга лежа в кроватях в разных краях комнаты. Не успели мы еще и объясниться как сверху послышались быстрые шаги и Колчин с Скалковским вошли в нашу комнату со словами: «Чубчик не дает спать, — толкается!» Они пережили то же что и мы. Решив, что это просто наши нервы, разошлись, тем более что никто из нас не верил в надприродные явления; посидев вместе довольно долго, опять разошлись по своим местам. Несколько дней подряд повторялась та же история и только около 4 часов ночи наступал покой. Не находя объяснения этому явлению и не желая подвергать себя неприятным ощущениям мы все четыре с наступлением вечера покидали свои помещения и отправлялись в ночные рестораны или бродили просто по пустым улицам, возвращаясь домой после 4 часов ночи. Ясно что про это мы не скрывали от наших знакомых, которые искренно посмеивались над нами, называя нас и трусами и детьми, но нашлись и такие, которые захотели проверить наши рассказы. Через несколько дней у нас в комнате было устроено собрание любопытных, пришло их 5 человек. До 12 ночи не было ничего особенного, но немного после кто-то заметил в комнате появившееся прозрачное облако около стола. Похоже было на туман и совсем бесформенно. Это облако поплыло вокруг стола где мы все сидели. Знакомые наши гости не выдержали напряжения нервов и поспешили уйти. С ними вышли и мы. Из дня в день ложась спать после 4 утра а вставать на службу в 7 часов утра было уже немного утомительно и мы с радостью приняли нежданного гостя нашего друга по корпусу Толю Ли-

сецкого, который приехал и решил остановиться у нас с тайной надеждой выспаться и отдохнуть. Наша комната как самая большая в доме вообще представляла из себя если не общежитие кадет то во всяком случае постоялый двор. К нам приходили по субботам в отпуск младшие кадеты из корпуса, окончившие, приезжая из других городов, прямо направлялись по нашему адресу и все чувствовали себя как дома. Лисецкому мы устроили кровать на удобной отоманке, но умолчали о странных явлениях в нашей комнате. Не видясь с ним долгое время, конечно, весело болтали до позднего вечера и когда уже от усталости глаза начали закрываться сами по себе, а слова теряли свой смысл, мы просто сваливались на свои кровати с желаньем только спать. Я лично заснул сразу. Проснулся от громких возмущенных объяснений между Лисецким и пришедшим Скалковским и Колчиным. Забродин сидел на своей кровати и каждый из них говорил что-то в одно и то же время и нельзя было понять в чем в сущности дело. Постепенно стало выясняться, что Лисецкий возмущался и обвинял Колчина и Скалковского, что они не дали ему спать сильно толкая его отоманку и столько накурили в комнате, что облако дыма вертелось около него все время. Не знаю кого обвинять, но об этих странностях в нашем доме стало известно полиции. Как уже и полагается полиции, которая все необъяснимые случаи начинает рассматривать с точки зрения криминала, то и понятно что кроме ночных наших неприятностей наступили для нас ужасно неприятные дневные допросы. Таскали нас по очереди в управу полиции, часами допрашивали, составляли протоколы, сравнивали показания, придирались если что-нибудь было не одинаково рассказано и сильно старались доказать что Мурза погиб на дуэли с кем-то из нас, что мы это знаем и из-за мучения совести наши нервы вызывают эти явления в комнате. Настала форменная тоска почти безвыходного положения. Решил я пойти к нашему корпусному священнику и попросить его отслужить молебен в нашей комнате или панихиду по Яше. Славный добрый наш Протоиерей Троицкий внимательно выслушал меня и спокойно сказал мне что никакой службы он служить не может ибо Яша покончил жизнь самоубийством, но что все эти странные явления пройдут сами по себе после 40 дней по его смерти. Не оставалось ничего другого как терпеть и ждать. Через пару дней, как раз когда мы все собра-

лись уже в наши ночные походы, раздался в двери стук и незнакомый штатский вошел в нашу комнату. По надменному виду не трудно было догадаться, что он посол от полиции. Он сразу же подтвердил нашу догадку, представившись как агент уголовного розыска и цель его посещения — проверка всех показаний на опросах. Одним словом, садитесь, я вам рад и чувствуйте себя как дома. Мы быстро приготовили закуски, выпивку, конечно, водку, кофе и какие-то бисквиты, но сыщик вначале не дотрагивался ни к чему. Разговоры не клеились, его интересовал каждый угол комнаты, каждая скважина, в особенности диван обратил на себя тщательное внимание.

Впервые за все это долгое время странных явлений хотя и не веря в силы потустороннего мира, в душе моей повторялась искренняя молитва: «Чубчик, друг мой — не подведи!» И что ж, Чубчик не подвел и поступил по товарищески. Уже около 12 часов нас охватило знакомое чувство что в комнате кто-то есть невидимый. Мы только переглянулись, что кстати не ускользнуло от взгляда сыщика. «Начинается» вслух промолвил Колчин. Сыщик сразу засыпал вопросами как и почему мы знаем что начинается и не есть ли это просто самовнушение. Но Чубчик начал отвечать за нас. Диван на котором сидел сыщик приподнял две ножки и со стуком опустился на пол, что вызвало растерянную глупую улыбку сыщика. Стулья под нами по очереди заскрипели, хотя мы и не шевелились, повсюду слышались какие-то трески, то в полу то в стенках, в окне, в ночных столиках, дверях. Сыщик только и поворачивал голову в сторону этих звуков с видом Шерлок Хольмса. Мы привыкшие к этим шуткам спокойно сидели на своих местах, но нервы напрягались все больше и больше. Повидимому и сыщика защекотало по нервам, ибо он встал направляясь к столу и протянул руку чтоб взять стакан. В этот самый момент стакан на столе разлетелся с треском на мелкие кусочки, а сыщик побледневши отскочил назад, а потом недоумевая стал собирать мелкие кусочки стекла в платок для исследования. В это же время, когда сыщик ползал по полу, около нас сидящих за столом появилось знакомое облако похожее на слегка прозрачный туман и начало двигаться по комнате. В это же самое время на дворе за окном стала выть дворовая собака. Сыщик сидел и не сводил глаз с облака, которое продолжало ходить вокруг нас, потом подойдя к двери как-то

заколыхалось, начало сгущаться и вдруг превратилось в изображение до пояса Чубчика. Он как живой появился нам всем присутствующим с той же своей милейшей улыбкой. Было слышно в комнате как стучали наши сердца, а Чубчик приложив руку к козырьку, как бы прощаясь исчез сквозь закрытые двери. Стрелка показывала 4 часа ночи. Постепенно мы стали приходить в себя. Первый, как-то заикаясь спросил Лисецкий: «Видели?» да, мы видали, все ответили хором. Сыщик бледный, попросил показать ему карточку Яши. Карточка Яши, в рамке стояла на моем ночном столике, я показал ее сыщику. «Да, это был он, я тоже видел» задумчиво сказал сыщик и сразу же перестал быть полицейским.

Все вместе мы долго еще беседовали, выражали свои мнения о существовании потустороннего света, связи между живыми и мертвыми. Больше ничего не стучало и мы спокойно дружно пили и ели протянув нашу беседу до утра. На службу идти было поздно. Усталые завалились спать и проспали до вечера. Вечером же не хотелось покидать комнаты. На улице шел дождь, дул холодный ветер и было мокро и неуютно. Решили сидеть дома до последнего и уйти только при начале знакомых явлений. Прошла полночь, но чувства присутствия невидимого не появлялось. Не повторялось ничего и до 2 часов ночи, даже как-то необычно казалось.

Вспомнив слова священника я подсчитал дни со дня смерти Яши — это был сорок первый день.

С той поры Чубчик никогда над нами не шутил, а полиция совершенно оставила нас в покое.

Теперь, глядя на могилу друга как-то и не верится что это все было, а ведь действительно было.

С этими думами я поднялся со скамьи где сидел и пошел влево, где начиная от кадетского кладбища уходили ряды могил похороненных членов Русской колонии. Встретив много знакомых имен на крестах понял на сколько уменьшена возможность встретить их живыми на улицах, о чем мечтал, идя на кладбище. Вернулся опять на кадетское кладбище, прошел около каждой могилки, прочитал опять все эти близкие имена моих однокашников и внезапно вспомнил ведь все эти имена хранились на мраморных досках золотыми буквами в зале Корпуса. Вспомнилась и ошибка, когда на доску записали имя моего Полочанина Женю Шейнерта. Жалость в душе, когда присутствовал на его панихиде отслуженной в нашей

походной церкви, когда каждый день на поверке в молитву вставляли имя новопреставленного раба Евгения. Вспомнилась и искренняя радость когда совсем живой Женя на праздник Корпуса приехал в гости и удивлялся что записан мертвым на мраморной доске. Говорят, если по живому отслужить панихиду, то он будет очень долго жить, а это я бы искренно желал Шейнерту.

Отдаваясь вполне воспоминаниям прошлых жизней, я вернулся к могиле моего отца. Мысли побежали в мое детство, но были грубо перебиты шумно подошедших к кладбищу грузовиков с рабочими. Вооруженные кирками и лопатами, громко разговаривая между собой они гурьбой входили на кладбище. Мое настроение переменилось. Помолившись на быстроту я попрощался с могилой моего дорогого отца и поспешил уйти с кладбища. Уже в городе я узнал что все это кладбище будет перерыто и распланировано для построек расширения городской больницы, а останки мертвых будут собраны и перенесены в одну общую братскую могилу на другом кладбище, которое много дальше от города. Стало безумно жалко. Сохранят ли имена умерших или бесчувственно ограничатся надписью «Объединенные русские эмигранты города Сараево»? Мое настроение еще так недавно витавшее в ласковых воспоминаниях прежней жизни резко упало вернув меня к жестокой действительности.

После окончания заданной работы, наш самолет поднялся с аэродрома Райловца. По моей просьбе пилот пролетел низко над Кадетским Кладбищем и сделал три круга. Там копошились люди с лопатами, земля была изрыта, а малиновых плит с орденом Александра Невского уже не было. Не было ни могилы моего отца. Как во-время я успел попрощаться и это был последний привет.

Самолет выравнялся, начал брать высоту и вскоре Босанские горы закрыли за собой навсегда картину бывших прекрасных красок.

Впереди синело небо, да кое где белело облако, а вниз я не смотрел — не хотелось.

Леонид Буйневич
Кадет Полоцкого К.К.
и Русского К.К.

Я ПРОТИВ.

Против чего и почему?

Против анонимики при помощи одиночных букв нашей азбуки.

И мой взгляд на это следующий:

Если о описуемой вещи, предмету или живому существу (к которым приключаю и двуногое) существует и соответственное имя, к тому же не в коализии с понятиями о морали, то стесняться его или стыдиться нечего и не надо. Особенно это важно тогда, когда написанное претендует на истину и относится к историческим сведениям или теме.

Автор желающий, в будущем, облегчить работу тому кто заинтересуется описываемыми им событиями и надеющийся, что своим трудом вкладывает перед нами ценные сведения не должен прибегать к такого рода анониимкам ибо они теряют от этого свою ценность.

Конкретно, то лицо которое примется за изучение зарубежного быта, должно будет заняться и исследованиями в области образования и воспитания зарубежной молодежи... А следовательно и жизнь, быт, обычаи, настроения, традиции и все остальное, что связано с кадетскими зарубежными гнездами должно будет изучаться (и проверяться) им в деталях. При честном образе действий все надуманное будет, по мере сил, им отсеиваться... И вот сам собой напрашивается вопрос, что сможет этот будущий труженик почерпнуть из номера 16 нашей Кадетской Переклички?

Вероятно, сперва он даже и обрадуется, найдя в оглавлении сведения о интересующем его предмете, тот самый кусочек оборванной цепи (несколько этих нужных ему звеньев) связывающей НАЧАЛО Зарубежных Корпусов с их грустным концом... Ну, а дальше?

«Старший товарищ генерал Б.». 5-го сентября перед председателями колоний доклад генерала «К». Старшая в детском транспорте «мадам К.», «вдовы двух исторических особ М-м Д. и М-м К.», «исполняющий должность фельдфебеля кадет С...». А сами сведения подписаны «Е. Л.».

Что же остается делать? Поблагодарить за недостававшие сведения, а потом решать загадки и ребусы или алгебраические уравнения с несколькими неизвестными?!?

Так вот я против таких анонимов в нашей Кадетской Перекличке.

Отчасти я уже и объяснил почему, а отчасти потому, что по прошествии более 30 лет после войны такие секреты и ни к чему, просто какая-то игра в жмурки... Если еще (даже) несколько лет после войны могла быть оправдана боязнь о насильной репатриации или чего-либо другого со стороны, заботящегося о всех пролетариях мира, государства и автор боялся чем-либо необдуманным выложить опасности генералов «Б» и «К» или временно исполняющего должность фельдфебеля «С» или исторических дам, то тут могла быть эта забота даже трогательной. Хотя с другой стороны ни по чему не видны грехи этих анонимов.

Я думаю, что и сам автор согласится со мною и не будет на меня в обиде. А в конце концов это мое мнение, с которым не обязательно автор должен соглашаться.

Но я ПРОТИВ.

Алексей Мальчевский.

От Редакции :

Редакция согласна с мнением А. Мальчевского. Сокращения были оставлены в статье по требованию автора. Имя автора Редакции известно.

"И будет едино стадо
и един Пастырь."

Крестом больше стало на кладбище,
жинзью меньше стало на земле —
смерть опять пришла на пастбище
выбрав жертву новую себе.

НА СМЕРТЬ ЖЕНИ ЛЯШЕНКО

Ушел наш друг туда, где говорят, нет горя, нет печали.
Для жизни на земле в нем не хватило сил,
но ОН там не один — ОН встретился с друзьями,
которых сам туда недавно проводил.

Теперь ЕГО мы с грустью проводили.
Хороший друг, прекрасный человек,
так неожиданно для всех, а все его любили.
окончил свой земной недолгий век.

Друг, не скучай без нас! Мы скоро за ТОБОЙ,
тропой единственной проторенной веками,
кто раньше, кто поздней — назначены судьбой
пройдем для вечной встречи с вами.

Николай Домерщиков
Вице фельдфебель
XI вып.
В.К.К.К.К. Корпуса.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ОДНОКАШНИКАМ

1. **Росселевич Анатолий Михайлович**

   Второго и Русского Кадетских Корпусов, II выпуска
   † 24 марта 1977 г. в Нью-Йорке

2. **Казимиров Борис Васильевич**

   Донского Кадетского Корпуса, 41-го выпуска
   † 25 марта 1977 г. в Каракасе

3. **Поручик барон Де Боде Константин Владимирович**

   Первого Русского Кадетсокго Корпуса, XXIV выпуска
   † 30 марта 1977 г. в Каракасе

4. **Подпоручик Васильев Константин Венедиктович**

   Владикавказского и Крымского Кадетских Корпусов, III выпуска
   † 21 апреля 1977 г. в Нью-Йорке

Редакция журнала приносит искренее соболезнование семьям, родственникам, друзьям и однокашникам покойных, в постигшем их горе.

НЕКРОЛОГ

в г. Нью Йорке

24 марта 1977 года после тяжелой болезни скончался

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РОССЕЛЕВИЧ.

А. М. родился 28 декабря 1902 года в городе Владава (Польша) Холмской губернии. В 1912 году поступил в Хабаровский графа Муравьева Амурского кад. корпус, в приготовительный класс. С наступлением войны, в 1914 году, А. М. уехал в Петербург и поступил во 2-ой Кадетский Корпус, в котором оставался до ноября 1917 года, до закрытия корпуса и уехал с родственниками в город Ейск. С приходом Добровольческой Армии А. М. поступает в портовую охрану.

В июне 1919 года, по предложению отца, уехал в Туапсе, где находился временно Одесский кад. корпус, с которым и вернулся в Одессу, сдав экзамен в 6-ой класс.

25-го января 1920 года с группой кадет, не успевших погрузиться на пароходы, выступил в поход к румынской границе. Этот поход А. М. подробно описал в «Кадетские корпуса за рубежом» (стр. 335-352). 25-го апреля 1920 года в составе 39 кадет и кап. Реммерта, из группы совершившей поход в Румынию, приезжает в г. Панчево, где встречается, с приехавшими пароходами, одесситами и полочанами.

В середине июня 1920 года группы — киевская из г. Сисак и одесская из г. Панчево, были соединены в г. Сараево и 1-го ноября корпусу было присвоено название «Русского кад. корпуса в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев», который А. М. и закончил в 1921 году, в.у.о. 2-го выпуска.

По окончании корпуса А. М. поступает в Белградский университет. Там же, в г. Белграде, было создано «Объединение быв. кадет Русского кад. корпуса в Королевстве С.Х.С.», был написан «Устав» и А. М. был выбран Председателем Объединения.

В конце 1924 года А. М. уезжает в Бельгию, в г. Лувен и поступает в Лувенский университет, на стипендию кардинала Мерсье. И здесь, в далекой Бельгии, Сараевцы не забыли Родного Гнезда: было создано Объединение, белградский «Устав» был исправлен и дополнен, Председателем был выбран А. М., а день 25 октября 1925 года — стал считаться днем основания Объединения.

Весной 1926 года А. М. переезжает в г. Брюссель.

По инициативе покойного П. И. Крылова, когда жизнь Объединения в г. Лувене, за недостатком членов, замерла — Объединение было вновь возрождено в Брюсселе и первым Председателем был выбран А. М., но и в дальнейшем, как рядовой член, принимал деятельное участие в делах и жизни Объединения.

В начале 1958 года А. М. переехал в г. Нью Йорк и был принят действительным членом в Объединение зарубежных кадет и в О.К.О., в котором много лет занимал должность секретаря до своей кончины.

Много труда вложил А. М. на пользу этих двух кад. Объединений и, не только в их жизни, но и в литературной деятельности: А. М. был Председателем Редакционной Комиссии, при издании книги — памятки «Кадетские Корпуса За Рубежом» и принимал участие в работе по редактированию «Кадетская Перекличка».

Написанные им статьи, в этих изданиях, говорят сами за себя: он был кадетом и остался им — любовь к прошлому и вера в то, что наша кадетская жизнь за рубежом должна оставить след, который войдет в историю в возрожденной России.

Мир праху Твоему наш однокашник и да будет легка Тебе чужая земля.

Екатерине Александровне и дочерям с семьями, выражаем глубокое соболезнование в их тяжелой утрате.

Ф. Захарьин.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Printed by "Monastery Press", 6011 Champagneur Ave., Montreal, Que. Canada